



Ахматова
Б Е З Г Л Я Н Ц А

ПРОЕКТ НАВЛА ФОННА

Павел Евгеньевич Фокин
Ахматова без глянца
Серия «Без глянца»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11831665
Ахматова без глянца ; [сост., вступ. ст. П. Фокина]: Амфора. ТИД Амфора; СПб; 2008
ISBN 978-5-367-00623-0

Аннотация

В этой книге собраны отрывки из воспоминаний друзей, родных и близких А. А. Ахматовой людей, ее собственные дневниковые записи – те документальные свидетельства, что позволяют по-новому увидеть одного из самых крупных поэтов XX столетия.

Содержание

«Я стала песней и судьбой»	5
Личность	9
Облик	9
Голос	14
Характер	16
Творчество	24
Свойства ума и мышления	39
Собеседница	43
Интересы, увлечения, пристрастия	48
Вера	57
Привычки, обычаи, причуды	59
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Ахматова без глянца (сборник)

Составитель П.Фокин

© Фокин П., составление, вступительная статья, 2007

© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2007

Защиту интеллектуальной собственности и прав издательской группы
«Амфора» осуществляет юридическая компания «Усков и Партнеры»

«Я стала песней и судьбой»

Она притягивала к себе не только своими стихами, не только умом, знаниями, памятью, но и подлинностью судьбы. В первую очередь подлинностью судьбы.

Анатолий Найман

Наследница Пушкина, героиня Достоевского, Анна Ахматова – поэт и гражданин – стала воплощением судьбы России в XX веке: горькой, грозной, смутной, скорбной, в кровавых язвах бед и терзаний, униженной, оскорбленной и – вдохновенной, окрыленной, пророческой, прославленной и воспетой, торжествующей. Ее душа стенала и ликовала вместе с душой России. Скорбела и веселилась. Замирала и воскресала.

Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был...

Эти бессмертные строки «Реквиема», конечно же, не только о лихолетье сталинского террора: о ночных арестах и обысках, о многочасовых очередях и тюремных передачах, об отчаянии и бессмысленных хлопотах, о томительном ожидании приговора. Они и о более ранних годах. И – на годы вперед. О блокадном Ленинграде. О радости победы. О надеждах и разочарованиях «оттепели». О праздниках и буднях.

Эмма Герштейн вспоминала: «Возвращаясь домой, мы подошли к пивному ларьку, где я хотела купить папиросы. Очередь расступилась. Но Анна Андреевна объявила, что хочет пить. Продавец протянул ей полную кружку пива. Она, не отрываясь, выпила ее до дна. И чем больше она запрокидывала голову, тем большее уважение отражалось в глазах окружающих нас рабочих, и она поставила на прилавок пустую кружку под их одобрительное кряканье и сдержанные возгласы удивления».

Я была тогда с моим народом...

Наталия Ильина рассказывает: «Мы влезает в переполненный автобус, идущий на Хорошевское шоссе, где живет М.Петровых. Мест нет. Ахматова пробирается вперед, я задерживаюсь около кондукторши. Взяв билеты, поднимаю глаза и среди чужих голов и плеч различаю хорошо мне знакомый вязаный платок и черный рукав шубы. Рука протянута кверху, держится за поручень. Обледенелые стекла автобуса, тусклый свет, плечи и головы стоящих покачиваются, и внезапно меня охватывает чувство удивления и ужаса. Старая женщина в потрепанной шубе, замотанная платком, ведь это она, она, но этого никто не знает, всем все кажется нормальным. Ее толкают: „На следующей выходите?“ Я крикнула: „Уступите кто-нибудь место!“ Не помню: уступили или нет. Только это ощущение беспомощного отчаяния и запомнилось...»

Там, где мой народ, к несчастью, был...

Мемуаристы вспоминают, сама Ахматова отмечала эти строки «Реквиема». Говорила, что считает большой поэтической удачей вводную конструкцию «к несчастью», которая здесь, сохраняя интонационную свободу разговорной речи, наполнена подлинным смыслом. Немного странно это. Выглядит каким-то неуместным кокетством: радоваться удачному *каламбур*у, когда речь идет о всенародной трагедии. Хотя можно понять творческую удовлетворенность поэта, который задачу художника видел в преобразении «сора» повседневности, в том, чтобы из слов, которыми обычные люди зовут пить чай, создавать стихи. Это как раз тот самый случай. Почти эталонный образец. На грани абсолюта. И все же есть в этом какая-то тайна, некий второй смысл и – *недвусмысленное*, потому что шокирующее

своей почти обнаженной формой – указание на него. Ахматова фиксирует внимание собеседника на двойном значении слов, поясняя на *очевидном примере* и предлагая ключ к прочтению других, смежных, более важных, сокровенных слов и смыслов, о которых – страшится? избегает? – говорить прямо.

Мой народ.

Чьи это слова? Кто так говорит? Кто имеет право так говорить?

Это речь августейшей особы. Царицы. Королевы.

Ахматова была проста и естественна в жизни, но всегда – царственно возвышенна и обособленна. Люди вставали, когда она входила в комнату (в зал!). Разговор стихал, если она начинала говорить. Волнение и трепет охватывали присутствующих. Ее слова были сродни приговорам. Их спешили запомнить, записать, увековечить на скрижалях истории. Внимание приковывал каждый шаг, каждый взгляд. Ее движения, мимика, жесты вызывали сравнение с императрицей. Сосед Ахматовой по даче, литературовед Н.Я.Берковский с доброй улыбкой писал своему коллеге В.Г.Адмони: «По Комарову ходит Анна Андреевна, *imperatrix*, с развевающимися коронационными седидами, и, появляясь на дорожках, превращает Комарово в Царское Село».

Может, то был голос крови? Она вела свой род от татарских ханов, чингизидов. Или – большая игра? Насквозь театральный Серебряный век был ее колыбелью. Но в те тридцатые, когда писался «Реквием», было совсем не до игры. И все же, осознанно или подсознательно:

Я была тогда с моим народом...

Похоже, это как раз та самая проговорка по Фрейду (которого Ахматова, кстати, не жаловала), в которой человек, сам того не желая, высказывает свою затаенную суть.

Недоброжелатель тут же уличит поэта в мании величия. И ошибется. Величие было *на самом деле*. Без всякой мании. И природа его была совершенно особенной. Не гордыня, а, напротив, – смирение, готовность разделить *общую* участь, принять правду жизни без всякого ее оправдания, без позы и вызова, явились залогом человеческой силы Ахматовой, нескрываемого масштаба ее личности.

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу —

не все, должно быть, поверили этим словам, сказанным на пороге творческого пути. А они оказались заветными.

Гораздо позже, в 1961 году, в стихотворении «Родная земля» Ахматова напишет:

Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно – своею.

«Мой народ» и «своя земля» – это владение, данное поэту по праву *смирения*. Того высшего смирения, с которым последний император России принял решение сложить свой царский венец, чтобы принять венец терновый и быть со *своим* народом, и лечь в *свою* землю, и стать ею. *Царское* смирение.

Земной отрадой сердца не томи,
Не пристращайся ни к жене, ни к дому,
У своего ребенка хлеб возьми,
Чтобы отдать его чужому.
И будь слугой смиреннейшим того,
Кто был твоим крошечным супостатом,
И назови лесного зверя братом,
И не проси у Бога ничего.

Выбрав смирение, Ахматова выбрала путь истины и свободы. И стала неуязвимой. Отныне и навсегда.

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова.
Справлюсь с этим как-нибудь.
У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.
А не то... Горячий шелест лета
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

Долгое время современники считали, что это стихотворение связано с любовными переживаниями Ахматовой, ее разрывом с третьим мужем – Николаем Пуниным. А оно называлось «Приговор» и было составной частью «Реквиема». Написанное в 1939-м в связи с вынесением приговора сыну Ахматовой, Льву Гумилёву, оно носит программный характер. Те, кто видел в нем отражение любовной драмы, не так сильно и ошибались – *все* невзгоды, каждое «каменное слово», какой бы породы оно ни было, Ахматова преодолевала смирением: сначала душа каменела, а потом – училась жить. Как и должно в «этот *светлый* день».

Сегодня, из нового века, каким-то диким варварством выглядит борьба советской власти с Ахматовой. Она – частный человек, беспартийный, лирический поэт, одинокая женщина, не умеющая без посторонней помощи включить газовую конфорку, – трижды была предметом обсуждения и осуждения Центрального Комитета правящей партии. Три запретительных постановления ЦК ВКП(б)! Можно подумать, у большевиков других забот не было: что там ГОЭЛРО, ликбез, внутривластная оппозиция, индустриализация, коллективизация, война с фашистской Германией, восстановление страны! Вот Ахматова – это да, пострашнее Антанты и Гитлера, Троцкого и Бухарина. Без каких-либо усилий со стороны Ахматовой большевики сами признали за ней статус *равноправного* и *равносильного* противника, вручили ей (трижды!) властный мандат, жалованную грамоту или, как там говорили татарские предки поэта, ярлык на княжение. Факт, достойный удивления потомков.

Полный абсурд – с точки зрения *реальной* политики. Но самая суть – в *метафизическом* плане. Сама Ахматова, хоть и польщенная таким вниманием власти, все же была склонна объяснять это болезненной личной неприязнью к ней Сталина, его иезуитской натурой. Не без этого. Но и эта вражда – неспроста. Муза Ахматовой говорила на языке «подслушанных слов» – и это был голос самой России. Тихий, глухой, непримиримый. Сталину нужна была покорная и подвластная страна, а Ахматова являла пример смирения и свободы. Не только

личного, индивидуального, но – народного. Борясь с Ахматовой, Сталин боролся со смиренным-свободой России.

Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Кто может быть грознее и опасней? И сильнее.

Английский друг Ахматовой, философ и общественный деятель сэр Исайя Берлин восхищенно признавал – а вместе с ним и весь западный мир: «Ее жизнь стала легендой. Ее нестигаемое пассивное сопротивление тому, что она считала недостойным себя и страны, создало ей место не только в истории русской литературы, но и в русской истории нашего века».

Образ Ахматовой постоянно двоится. «От ангела и от орла / В ней было что-то» (М.Цветаева). То «царскосельская насмешница», то «прокаженная». То «веселая грешница», то скорбная плакальщица. Беспомощная и могущественная. «Надменная» и «простая». То замкнутая в себе, то в сумасшедшем вихре «ахматовки». То нищая, в убогом рубище и с сумой, то сыпящая деньгами и подарками. Ленинградка и москвичка. Собеседница Данта и Пушкина – соседка по коммунальной квартире. Жена без мужа. Мать без сына. Русский поэт с татарским именем. Все жило в ней органичной жизнью – жизнью родной земли, *своего* народа. Двойственность Ахматовой – это двойственность самой России: золотой России Пушкина и сумеречной России Достоевского.

Сама – легенда и миф, в биографических изысканиях Ахматова была точна до педантизма. Не любила мемуаристов. Вела непримиримый бой с разного рода неточностями и оговорами. С подозрением относилась к тем, кто записывал за ней слова.

Но как было не записывать!..

«Сколько глаз человеческих отражало ее с любовью и поклонением, в глазах скольких художников она жила. В моих поселилась давно и навеки» – так прощалась в своем дневнике с Ахматовой художница Антонина Любимова в марте 1966-го. И она была не одинока. Ахматова еще при жизни породила целую литературу о себе, а когда ушла – стала предметом заботливой памяти своих друзей и знакомых. Надо отдать им должное, многие из них (большинство) постарались сохранить живой облик поэта, без мрамора и бронзы, без льстивых слов и восклицаний. Без глянца.

Павел Фокин

Личность

Облик

Галина Лонгиновна Козловская, *либреттист, жена композитора и дирижера А.Ф.Козловского, знакомая Ахматовой по годам эвакуации в Ташкенте:*

Во все времена своей жизни она была прекрасна. Ее красота была радостью художников. Каждый находил в ней неповторимые, пленительные черты характера. Даже в старости, отяжелев и став тучной, она обрела особую благородную статуарность, в которой выявилось отчетливо и покоряющее величие великолепной человеческой личности.

Валерия Сергеевна Срезневская (урожд. Тюльпанова; 1888–1964), *подруга детства Ахматовой:*

Она очень выросла (к четырнадцати годам. – *Сост.*), стала стройной, с прелестной хрупкой фигурой чуть развивающейся девушки, с черными, очень длинными и густыми волосами, прямыми, как водоросли, с белыми и красивыми руками и ногами, с несколько безжизненной бледностью определенно вычерченного лица, с глубокими, большими светлыми глазами, странно выделявшимися на фоне черных волос и темных бровей и ресниц.

Юрий Павлович Анненков (1889–1974), *художник, писатель, мемуарист:*

Я встретился впервые с Анной Андреевной в Петербурге в подвале «Бродячей собаки» в конце 1913 или в начале 1914 года. Анна Ахматова, застенчивая и элегантно небрежная красавица, со своей «незавитой челкой», прикрывавшей лоб, и с редкостной грацией полудвижений и полужестов, – читала, почти напевая, свои ранние стихи. Я не помню никого другого, кто владел бы таким умением и такой музыкальной тонкостью чтения, какими располагала Ахматова. <...>

Грусть была, действительно, наиболее характерным выражением лица Ахматовой. Даже – когда она улыбалась. И эта чарующая грусть делала ее лицо особенно красивым. Всякий раз, когда я видел ее, слушал ее чтение или разговаривал с нею, я не мог оторваться от ее лица: глаза, губы, вся ее стройность были тоже символом поэзии. <...>

Печальная красавица, казавшаяся скромной отшельницей, наряженной в модное платье светской прелестницы!

Георгий Викторович Адамович (1892–1972), *поэт, литературный критик:*

Анна Андреевна поразила меня своей внешностью. Теперь, в воспоминаниях о ней, ее иногда называют красавицей: нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание.

Лидия Яковлевна Гинзбург (1902–1990), *литературовед, историк и теоретик литературы:*

Я помню Ахматову еще молодой, худую, как на портрете Альтмана, удивительно красивую, блистательно остроумную, величественную.

Движения, интонации Ахматовой были упорядоченны, целенаправленны. Она в высшей степени обладала системой жестов, вообще говоря, несвойственной людям нашего

неритуального времени. У других это казалось бы аффектированным, театральным; у Ахматовой в сочетании со всем ее обликом это было гармонично.

Всеволод Николаевич Петров (1912–1978), искусствовед:

Анне Андреевне было тогда лет 45. Высокая, стройная, очень худощавая, с черной челкой, она выглядела почти совершенно так же, как на портрете, написанном Альтманом.

Я вспомнил тогда строчки из воспоминаний графа Соллогуба о знакомстве с женой Пушкина. Соллогуб писал: «В комнату вошла молодая дама, стройная, как пальма». Так можно было бы написать и об Ахматовой.

Эмма Григорьевна Герштейн (1903–2003), литературовед, мемуарист:

Анну Андреевну Ахматову я впервые увидела в январе или феврале 1934 г. в домашней обстановке у Мандельштамов. <...>

Для московского житья она захватила с собой ярко-красную пижаму Пунина, которая подчеркивала ее высокий рост и линейность фигуры. Но матиссовские краски, ренуаровская челка, черные волосы делали ее похожей на японку. Впечатление неточное и, очевидно, неверное, особенно если вспомнить миниатюрность японок, но мы жили так серо, а облик Ахматовой был так необычен, что рождал какие-то неопределенные воспоминания и ложные ассоциации.

Лицо у нее было усталое, немолодое, землистого цвета, однако изящный и нежный рисунок рта, нос с горбинкой были прелестны. Улыбка ее не красила. <...>

И зимой, и весной Анна Андреевна носила один и тот же бесформенный «головной убор»: фетровый колпак неопределенного цвета. Зимой она ходила в шубе, подаренной ей умирающей В.А.Щёголевой еще в 1931 г., весной – в синем непромокаемом плаще с потертым воротником. «Вы ошибаетесь, – возразил мне как-то Осмёркин, – она элегантна. Рост, посадка головы, походка и это рубище. Ее нельзя не заметить. На нее на улице оборачиваются». О десятых годах Анна Андреевна говорила весело и небрежно: «Это было тогда, когда я заказывала себе шляпы».

Лев Владимирович Горнунг (1902–1993), поэт, переводчик:

В этот ее приезд (1936 г. – *Сост.*) нельзя было не заметить бедности ее одежды. Она привезла с собой одно темное платье с большим вырезом вокруг шеи из дешевой тонкой материи, очень просто сшитое, и еще три ситцевых светлых платья. Туфли были только одни, черные, матерчатые – лодочкой, на кожаной подошве. На голове в солнечные дни она носила небольшой сатиновый платочек бледно-розового цвета. <...>

При встрече с Анной Андреевной этим летом я заметил в ней большую перемену, не то чтобы она очень постарела, но она была сплошной комок нервов. У нее какая-то неровная походка, срывающийся, непрочный голос.

Лидия Корнеевна Чуковская (1907–1996), писатель, многолетняя знакомая и доверенное лицо Ахматовой:

10 сентября 1940. Анна Андреевна в кресле возле стола, в белом платке поверх халата, строгая, спокойная, тихая, мрачная. Я еще раз про себя подивилась тому, как человек может быть таким совершенным и таким выраженным. Хоть сейчас в бронзу, на медаль, на пьедестал. Статуя задумчивости – если задумалась, гнева – если разгневана.

Галина Лонгиновна Козловская:

Она направилась к печке, стала к ней спиной и начала греть руки. И тут мы увидели, что она по-прежнему стройна и прекрасна. В тот вечер глаза у нее были синие. В иные дни

они бывали и серыми, иногда голубыми. Еще не седые волосы, цвета соли с перцем, мягко и легко обрамляли ее патрицианскую голову, и вся ее фигура в светло-сером костюме обрисовывалась необычайно изящной, стройной и почти воздушной.

Дмитрий Николаевич Журавлёв (1900–1991), артист, мастер художественного чтения:

Для меня в строгом облике Ахматовой всегда было нечто от классической красоты Ленинграда.

Наталья Александровна Роскина (1928–1989), литературовед:

Я познакомилась с Анной Андреевной летом 1945 года. <...> Разумеется, я никогда не забуду минуту, когда она открыла дверь и на шаг отступила назад, давая мне пройти. Как раз в том году она перестала носить челку и зачесала волосы назад, сделав на затылке обыкновенный пучок седоватых волос. Не было уже и худобы, известной мне по портретам. Я увидела полнеющую пожилую женщину, одетую в дешевый халат и домашние туфли на босу ногу. Но ее статность, скульптурность ее позы (в согнутой руке она держала папиросу), ее красота и непередаваемое благородство всего ее облика – все это меня потрясло больше, чем я могла предположить.

Виктор Ефимович Ардов (1900–1976), писатель, многолетний друг Ахматовой:

В сороковых и пятидесятых годах гардеробом Анны Андреевны стала заведовать Нина Антоновна (Ольшевская, жена Ардова. – *Сост.*). Своеобразный стиль одежды был в какой-то мере сохранен. Ахматова носила просторные платья темных тонов. Дома появлялась в настоящих японских кимоно черного, темно-красного или темно-стального цвета. А под кимоно шились, как мы это называли, «подряски» из шелка той же гаммы, но посветлее. Кроме Анны Андреевны, никто так не одевался, но ей очень шел этот несуетливый покррой и глубокие цвета, тяжелая фактура тканей...

Лидия Корнеевна Чуковская:

Она держала руку по-ахматовски: большой палец под подбородком, мизинец отставлен, а три пальца – вместе с папиросой – вытянуты вдоль щеки. (И я еще раз увидела, как неверно изображают ее руку портретисты: на самом деле никаких длинных костлявых пальцев, детская ладонь, а пальцы стройные, но маленькие.)

Галина Лонгиновна Козловская:

Ее руке характерен не жест, а я бы сказала выражение. Его чуть наметил Модильяни на ее портрете. Три полусогнутых от мизинца пальца, чуть поднятый указательный и слегка опущенный большой. И в спокойном состоянии, и в разговоре руки в движении были красноречивы, ахматовски прелестны и неповторимы. Это были удивительные руки!

Лев Владимирович Горнунг:

2. VIII.1951. В последнее время она заметно пополнела, и волосы ее сильно поседели. После войны и Ташкента она уже отказалась от своей традиционной челки и теперь зачесывает волосы назад в пучок.

Лидия Корнеевна Чуковская:

13 июня 1952. ... Вот оно, значит, что: горе, годы, болезнь. Совсем другая, не та. Расплылась, отяжелела. Лицо полное, рот кажется маленьким между полных щек. Лицо утратило свою четкую очерченность, свою резкую горбоносость, словно и нос сделался меньше

и неопределеннее, чем был. Даже руки переменялись: огрубели, набухли. А были такие легкие, детские! Десять лет... Только взгляд остался прежний. И голос.

Наталья Иосифовна Ильина (1914–1994), *писатель, мемуарист:*

Вот я стою на перроне, передо мной медленно плывут вагоны, и в окне я вижу лицо Ахматовой. Оно поразило меня выражением какого-то гневного страдания. Будто ничего доброго не ждет она и от этого своего приезда. Ничего, кроме бед, не ждет и вполне к этому готова. «У меня только *так* и бывает!» – часто слышала я от нее.

Оглушенная «шумом внутренней тревоги» (она любила эти пушкинские слова и часто их повторяла), Ахматова не видела ни перрона, ни людей и увидела меня лишь в тот момент, когда поезд остановился и я подошла к окну вплотную. Лицо ее смягчилось, подобрело, а я подумала: «Неужели, неужели у нее всегда такое лицо, когда она одна?»

Анатолий Генрихович Найман (р. 1936), *поэт, переводчик, мемуарист, в 1960-е гг. литературный секретарь Ахматовой:*

В жизни ей была присуща выразительная мимика, особенно гнева, скорби, сострадания; жестикуляция почти совсем отсутствовала.

Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904–1987), *литературовед, критик:*

Теперь это была величавая женщина, уже не молодая, с лицом благородным и, как прежде, ни на кого не похожим. Возраст, полнота, некоторая грузность, болезненность не лишали ее грации и не стирали следов былой, очень своеобразной, хорошо знакомой по портретам и фотографиям красоты. Своими движениями, речью, глазами она управляла с неизменным самообладанием, уверенно и спокойно.

Анатолий Генрихович Найман:

А сама она была ошеломительно – скажу неловкое, но наиболее подходящее слово – грандиозна, неприступна, далека от всего, что рядом, от людей, от мира, безмолвна, неподвижна. Первое впечатление было, что она выше меня, потом оказалось, что одного со мной роста, может быть, чуть пониже. Держалась очень прямо, голову как бы несла, шла медленно и, даже двигаясь, была похожа на скульптуру, массивную, точно вылепленную – мгновениями казалось, высеченную, – классическую и как будто уже виденную как образец скульптуры. И то, что было на ней надето, что-то ветхое и длинное, возможно шаль или старое кимоно, напоминало легкие тряпки, накинутые в мастерской ваятеля на уже готовую вещь. Много лет спустя это впечатление отчетливо всплыло передо мной, соединившись с записью Ахматовой о Модильяни, считавшем, что женщины, которых стоит лепить и писать, кажутся неуклюжими в платьях.

Лидия Корнеевна Чуковская:

20 января 1954. Опять она показалась мне сегодня изваянием самой себя – а может быть, собственной Музы. Каждое ее движение и, главное, каждую ее неподвижность необходимо запечатлевать – кистью, резцом, а лучше бы всего киноплёнкой. Вот сидит на постели, опираясь на обе ладони, голова поднята, в глазах – ум и насмешка, каждая черта оживлена, на устах слово, которое сейчас зазвучит – насмешливое или гневное; вот наклонилась над столиком, на котором раскрыта тетрадь, – в руке карандаш, – глаза опущены, веки неподвижны, лицо как на замке... ее будто нет здесь, она где-то у себя, далеко, «у памяти в гостях». Мрамор? Бронза? Подпись: «Ахматова над своими стихами».

Юлиан Григорьевич Оксман (1895–1970), *литературовед, пушкинист:*

13 октября 1959 г., вторник. За те несколько месяцев, что мы не видались, она – чисто внешним образом – очень изменилась. Как-то погрузнела – не то что пополнела, а вся «раздалась» и в то же время окрепла, успокоилась, стала еще монументальнее, чем была. К семидесяти годам исчез последний налет Ахматовой эпохи не только «Четок», но и «Anno Domini».

Михаил Васильевич Толмачёв (р. 1935), *литературовед, поэт-переводчик:*

...В профиль, на низкой тахте, стоящей вдоль стены, сидит Ахматова. Первое зрительное впечатление сильно «разочаровывающее», в прустовском смысле: полное несоответствие заранее созданному образу. Я, конечно, знал, что Ахматова 60-х годов с трудом соотносится со своими обликами на фотографиях Наппельбаума или образами, созданными Альтманом, Анненковым или Данько. У меня была ее недавняя фотография, на которой она, если не чертами лица, то осанкой, статью походила на Екатерину II. Но это перед объективом фотоаппарата. А сейчас... я мгновенно констатировал, что старая седая полная женщина, безмолвно, жестом, пригласившая меня сесть, весьма похожа на гимназическую подругу моей бабушки, жену петербургско-ленинградского врача, Иду Борисовну Мандельштам, – даже что-то еврейское в чертах лица проглядывалось (впоследствии, наблюдая старых украинок, я вставил для себя это «еврейское» в более широкий, южный контекст). И, как почти сразу выяснилось, Анна Андреевна к старости стала туга на ухо, что она, впрочем, не скрывала, а обыгрывала, приставляя ладонь козырьком к уху, чтобы говорили громче.

Дмитрий Николаевич Журавлёв:

Одна из последних наших встреч с Ахматовой состоялась в Ленинграде вскоре после возвращения Анны Андреевны в 1964 году из Италии, куда она ездила для получения присужденной ей международной премии. <...>

До этого мы довольно долго не встречались. Поразила перемена, происшедшая с ней. Она очень пополнела. Ее прекрасное лицо изменилось. Такой особенный «ахматовский» нос с горбинкою почти тонул в лице. Давно исчезла знаменитая челка. Седые волосы были заколоты небрежным пучком.

Наталья Иосифовна Ильина:

До последних дней своей жизни она оставалась и величавой и красивой, но время не было милосердно и к ней. Она полнела. С ее высоким ростом это не бросалось в глаза, к тому же я часто и регулярно ее видела. Но теперь, глядя на фотографии, я замечаю, как потучнела она за последние три-четыре года, как ее твердо очерченное лицо римлянки эту твердость очертаний утрачивало, расплываясь.

Алексей Владимирович Баталов (р. 1929), *киноактер, кинорежиссер:*

...Человеческие изменения, происходившие с Ахматовой, довольно ясно отражены даже в самом простом подборе ее фотографий. Она менялась вместе со временем, но оставалась собой, ее голос никогда невозможно было перепутать с другими.

Голос

Александр Семенович Кушнер (р. 1936), *поэт*:

Все эти впечатления, скажу еще раз, подправлены и дополнены последующими, засло-нены фотографическими изображениями, но голос... Вот что запомнилось прочно и наве-гда. Глуховатый, ровный. Медленная, отчетливая, не сомневающаяся в себе речь. Так никто не говорил, никогда, нигде.

Татьяна Михайловна Вечеслова (1910–1991), *балерина*:

Обычно я робела и затихала в ее присутствии и слушала ее голос, особенный этот голос, грудной и чуть глуховатый, он равномерно повышался и понижался, завораживая слу-шателя.

Лев Владимирович Горнунг:

В конце 60-х годов фирма «Мелодия» выпустила долгоиграющую пластинку с голо-сом Ахматовой, читающей свои стихи. Запись ее голоса была сделана, к сожалению, очень поздно, примерно за три года до ее кончины – в 1963 году. Мне, которому приходилось много раз слышать голос Ахматовой – приятный, грудной, а я в первый раз его услышал, когда ей было только 37 лет, очень тяжело слушать эту пластинку с таким уже старческим, сухим, не ахматовским голосом.

Виталий Яковлевич Виленкин (1911–1997), *искусствовед, театровед, литературо-вед, мемуарист*:

Как она читала? Негромко, мерно, но с ощутимым биением крови под внешним покоем ритма. Ничего не подчеркивая, не выделяя, ни стиха, ни строфы, ни одного отдельного слова, ни одной интонации, так что каждое стихотворение выливалось как бы само собой, на еди-ном дыхании, но каждое – на своем дыхании, в своей особой мелодике. Ближе всего из того, что мне приходилось слышать из авторских чтений, это было, пожалуй, к фонографической записи Блока.

Елена Константиновна Гальперина-Осмёркина (1903–1987), *мастер художе-ственного слова, жена художника А. Осмёркина*:

При чтении Ахматовой мне послышались звуки отдаленного органа. Она читала ровно, без каких-либо актерских приемов, но стихи звучали торжественно и, казалось, доходили до нас тут же, со всей полнотой ее чувств и размышлений.

Игнатий Михайлович Ивановский (р. 1932), *поэт-переводчик*:

Как читала Ахматова в последние годы жизни?

Голос низкий, ниспадающий. Последняя строка почти пропадает, замирает где-то внизу.

Общее впечатление – сдержанного величия. По манере то, что называется завыванием, но очень в меру. При таком чтении подробности не выделяются, слушатель как бы видит всю строку, становится читателем.

Чтение – не бытовое, не разговорное. Наоборот, священнодействие. Звук полный, глу-бокий.

И еще одна особенность: последнюю строку стихотворения Ахматова иногда произ-носила с чуть заметным оттенком какой-то необъяснимой досады.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Свои стихи Ахматова читала, легко прерывая беседу и не меняя позы. Она произносила их ровным тихим голосом, как бы сообщая. Только в некоторых местах прорывалось исступление, тотчас умеряемое. Я до сих пор не забыла, как она читала в 1936 г. стихотворение «От тебя я сердце скрыла». Может быть, потому что она читала его не с глазу на глаз, а в присутствии четырех человек в мастерской художника А.А.Осмёркина, волнение начало овладевать ею в строках:

Осторожно подступает,
Как журчание воды, —

и, нарастая, достигло апогея в двух следующих:

К уху жарко приникает
Черный шепоток беды... —

слегка вибрирующий голос позволял догадываться о неистовстве, породившем эти строки. Но она тотчас овладела собой и закончила на ровном спаде. Еще больнее ранил меня вырвавшийся у нее возглас «Не забыть!» из трагического стихотворения «Уводили тебя на рассвете», которое она прочла здесь, не боясь.

Поздние магнитофонные записи чтения Ахматовой уже не передают этого впечатления. Голос ее с годами стал ниже и глуше, к тому же магнитофон сам по себе сгущает звук. Главное же в том, что стихи в этих записях текут беспорядочной вереницей, и это нарушает художественный эффект. Сохраняется только строгий ритмический рисунок авторского исполнения.

Галина Лонгиновна Козловская:

Читая свои стихи, она довольно часто, не соразмерив высоты, начинала читать на низком звуке, так что порой чуть задыхалась.

Наталья Александровна Роскина:

Закончив стихотворение, она как бы – голосом – отодвигала его от себя.

Александр Григорьевич Тышлер (1898–1980), художник:

Анна Андреевна читала свои стихи эпически спокойно, тихо, выразительно, так, что между нею и слушателем словно бы возникала прозрачная поэтическая ткань. Создавалось своеобразное мягкое звучание тишины...

Характер

Надежда Яковлевна Мандельштам (урожд. Хазина; 1899–1980), *мемуарист, жена поэта О.Мандельштама:*

Откуда-то с самых ранних лет у нее взялась мысль, что всякая ее оплошность будет учтена ее биографами. Она жила с оглядкой на собственную биографию, но неистовый характер не допускал ни скрытности, ни идеализации, которой бы ей хотелось.

Надежда Григорьевна Чулкова (1874–1961), *жена поэта Г.Чулкова:*

Я видела ее и в старых худых башмаках и поношенном платье, и в роскошном наряде, с драгоценной шалью на плечах (она почти всегда носила большую шаль), но в чем бы она ни была, какое бы горе ни терзало ее, она всегда выступала спокойной поступью и не гнулась от уничижающих ее оскорблений.

Светлана Александровна Сомова (1911–1989), *поэт, переводчик:*

Наверное, одно из главных слагаемых в характере Ахматовой – сила сопротивления.

Алексей Владимирович Баталов:

Мужество не покидало Анну Андреевну никогда, и полагаю, что это вполне естественно, поскольку мужество – качество, отличающее людей высшего порядка и по иронии судьбы стоящее на противоположном конце от тех мышечно-звериных признаков, которыми природа наделяет сильный пол. Человеческое мужество представляет собой силу, почти всегда направленную внутрь себя, в то время как звериное – чаще напоказ, в сторону окружающих, главным образом более слабых.

Наталья Александровна Роскина:

Анна Андреевна всегда была очень терпелива и непритязательна. Антонина Петровна Оксман как-то зашла к ней без звонка и – разбудила; огорченная, стала извиняться. Анна Андреевна ответила: «Ничего. Не сахарная».

Вячеслав Всеволодович Иванов (р. 1928), *филолог, поэт:*

Она была настолько вне быта и над ним, что застревать на всем этом значило бы изменить ее духу.

Корней Иванович Чуковский (1882–1969), *литературный критик, литературовед, переводчик, мемуарист, детский писатель:*

Она была совершенно лишена чувства собственности. Не любила и не хранила вещей, расставалась с ними удивительно легко. Подобно Гоголю, Аполлону Григорьеву, Кольриджу и другу своему Мандельштаму, она была бездомной кочевницей и до такой степени не ценила имущества, что охотно освобождалась от него, как от тяготы. Близкие друзья ее знали, что стоит подарить ей какую-нибудь, скажем, редкую гравюру или брошь, как через день или два она раздаст эти подарки другим. Даже в юные годы, в годы краткого своего «процветания», жила без громоздких шкафов и комодов, зачастую даже без письменного стола.

Вокруг нее не было никакого комфорта, и я не помню в ее жизни такого периода, когда окружавшая ее обстановка могла бы назваться уютной.

Самые эти слова: «обстановка», «уют», «комфорт» – были ей органически чужды – и в жизни и в созданной ею поэзии. И в жизни и в поэзии Ахматова была чаще всего бесприютна.

Конечно, она очень ценила красивые вещи и понимала в них толк. Старинные подсвечники, восточные ткани, гравюры, ларцы, иконы древнего письма и т. д. то и дело появлялись в ее скромном жилье, но через несколько дней исчезали. Не расставалась она только с такими вещами, в которых была запечатлена для нее память сердца. То были ее «вечные спутники»: шаль, подаренная ей Мариной Цветаевой, рисунок ее друга Модильяни, перстень, полученный ею от покойного мужа, – все эти «предметы роскоши» только сильнее подчеркивали убожество ее повседневного быта, обстановки: ветхое одеяло, дырявый диван, изношенный узорчатый халат, который в течение долгого времени был ее единственной домашней одеждой.

То была привычная бедность, от которой она даже не пыталась избавиться...

Единственной утварью, остававшейся при ней постоянно, был ее потерянный чемоданчик, который стоял в углу наготове, набитый блокнотами, тетрадами стихов и стихотворных набросков – чаще всего без конца и начала. Он был неотлучно при ней во время всех ее поездок в Воронеж, в Ташкент, в Комарово, в Москву.

Даже книги, за исключением самых любимых, она, прочитав, отдавала другим. Только Пушкин, Библия, Данте, Шекспир, Достоевский были постоянными ее собеседниками. И она нередко брала эти книги – то одну, то другую – в дорогу. Остальные книги, побывав у нее, исчезали...

И чаще всего она расставалась с такими вещами, которые были нужны ей самой.

Маргарита Иосифовна Алигер (1915–1992), поэт:

Деньги нужны были ей прежде всего для того, чтобы раздавать их людям. Ей самой нужно было очень немного из того, что оплачивается деньгами.

Виктор Ефимович Ардов:

Она многие годы бедствовала. Знала и голод... Но если у нее появлялись деньги, она раздавала их всем, кто только ни попросит.

А как ей нравилось делать подарки!

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Сама бесребреница, она была щедрой. В границах своих малых возможностей, совсем не будучи филантропкой, а только по своему душевному устройству, она оказывала помощь, моральную и даже материальную, своим близким, а иногда – почти посторонним! Когда в последние годы ее обстоятельства изменились к лучшему, с какой легкостью она раздаривала деньги из своих гонораров, книги и вещи! И за всем этим можно было увидеть не только душевную широту, но и сознание добровольно принятого на себя долга, как бы чувство круговой поруки, которое связывает людей и обязывает их помогать друг другу. И она хотела бы, чтобы это чувство разделяли с нею ее близкие и знакомые.

Юрий Павлович Анненков:

Непосредственность, простота, порой – застенчивая шутливость (с грустной улыбкой) и полное отсутствие претенциозности всегда удивляли меня при встречах и беседах с ней.

Сергей Васильевич Шервинский (1892–1991), поэт, переводчик, стиховед:

Вообще трудно оценить ту необычайную скромность, которую Анна Андреевна проявляла в обыденной обстановке. Не могло быть гостя более нетребовательной, более уживчивой. Она умела вливаться в быт еще недавно далекой ей семьи без всякого насилия над собой и над теми, с кем ее свела судьба. Это не значит, что жить рядом с ней было легко:

Ахматова несла, как нелегкий груз, окрепшее бессознательно и сознательно величие, которое никогда не покидало ее...

Павел Николаевич Лукницкий (1900–1973), *поэт, прозаик, биограф Н. С. Гумилёва:*

АА не тщеславна, не носитя с собой, не говорит о себе <...> не любит, когда о ней говорят, как об «Ахматовой», не выносит лести, подобострастия... Чувствует себя отвратительно, когда с ней кто-нибудь разговаривает как с метром, как со знаменитостью, робко и принужденно-почтительно. Не любит, когда с ней говорят об ее стихах.

Михаил Борисович Мейлах (р. 1944), *литературовед:*

Ко всему, связанному с автографами, Анна Андреевна относилась слегка иронически – фетишизм в отношении чего бы то ни было, связанного с поэтом, вызывал ее резкое неодобрение (дорогой на какие-то давние блоковские торжества она сказала покойной Зое Александровне Никитиной: «В Пушкинском Доме они хранят недокуренную папиросу Блока...»). Так, написав однажды небольшое письмо в Москву, она произнесла: «Обычный средний автограф».

Алексей Владимирович Баталов:

...Всегда оставаясь собой, Анна Андреевна тем не менее удивительно быстро и деликатно овладевала симпатией самых разных людей, потому что не только взаправду интересовалась их судьбой и понимала их устремления, но и сама входила в круг их жизни, как добрый и вполне современный человек. Только этим я могу объяснить ту удивительную непринужденность и свободу проявлений, то удовольствие, которое испытывали мои сверстники – люди совсем иного времени, положения и воспитания, – когда читали ей стихи, показывали рисунки, спорили об искусстве или просто рассказывали смешные истории.

Корней Иванович Чуковский:

Живую жизнь со всеми ее радостями, страстями и бедами она ставила превыше всего.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Она любила шум, доносящийся со двора: кто-то выбивает ковер, кто-то зовет домой детей, хлопает дверца машины, лает собака... Она смеялась над теми писателями, которые стараются изолировать себя от звуков проходящей рядом жизни. С иронией приводила в пример, кажется, братьев Гонкур, добившихся полной тишины в своем деревенском уединении, но вот ночью лошадь в конюшне переступала с ноги на ногу... Анне Андреевне не мешало ничто.

Виктор Ефимович Ардов:

Как любила Анна Андреевна веселое застолье!..

Татьяна Михайловна Вечеслова:

Как бы порой ни приходилось ей тяжело, она никогда не жаловалась, не роптала и с присущим ей величием жила, влюбленная в жизнь.

Анна Андреевна умела радоваться, казалось бы, пустякам, незначительным вещам, событиям, явлениям, всему тому, что ласкало глаз, утешало сердце, – запела ли птица, расцвел ли цветок, зажглось ли небо вечерним светом. Она была требовательна в больших делах, поступках, в отношении к людям, к их поведению. Особенно ценила она простое внимание друзей своих.

Надежда Яковлевна Мандельштам:

Ахматова вступала в глубоко личные отношения с неслыханным количеством людей (когда людям перестало грозить тюремное заключение за дружбу с Ахматовой) и гляделась в них, как в зеркало, словно ища свое отражение в их зрачках. Это совсем не эгоцентризм, а тоже высокий дар души, потому что она со всей щедростью дарила себя каждому из своих друзей, жила в них, как в зеркалах, искала в них отзвука своих мыслей и чувств.

Лев Адольфович Озеров (1914–1996), поэт, литературный критик:

Жизнь учила ее недоверию к людям. Было множество случаев в ее жизни, когда она, доверчивая по натуре, обманывалась в людях. Но если уж доверяла, то всецело и навсегда.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Ахматова бесспорно владела даром дружбы: когда она хотела встретиться с кем-нибудь, она этого не скрывала. У нее начисто отсутствовало то ложное самолюбие, которое нередко мешает делать первые шаги, чтобы повидаться со своими друзьями и приятелями. Почувствовав такое желание, она звонила сама, не ожидая инициативы со стороны ее знакомых. Она поддерживала долгие и прочные дружеские связи с близкими ей людьми. И она старалась, как могла, быть им полезной. В первый раз я пришел к ней на Фонтанку накануне или незадолго до того дня, когда она должна была отправиться в далекий и чреватый жизненными осложнениями путь в Воронеж к своему другу О.Мандельштаму. И она действительно ездила к нему. И сколько таких жестов дружбы и внимания к людям от нее исходило!

Эмма Григорьевна Герштейн:

Сама Анна Андреевна значила для своих друзей очень много. В один из московских приездов она рассказывала: «Я позвонила Н. „Вы приехали вовремя“, – отозвался он таким мрачным голосом, как будто, снимая одной рукой телефонную трубку, другой уже держал у виска дуло заряженного пистолета».

Эту способность Анны Андреевны приезжать вовремя я знала по себе. Бывали минуты, когда казалось – нет, больше нельзя, все дошло до предела в моей жизни, и тогда в телефонной трубке слышалось: «Говорит Ахматова», – ее голос звучал как весть и спасение.

Надежда Яковлевна Мандельштам:

В самые страшные годы А.А. всегда первая приходила в дома, где ночью орудовали «дорогие гости».

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Нужно сказать, что трагические перипетии в судьбах ее современников, вообще говоря, в высшей степени ее волновали и влияли на ее оценочные суждения.

Наталья Александровна Роскина:

Сострадание Анны Андреевны к жертвам сталинского террора было вообще очень широко. Без этого чувства она не написала бы «Реквиема»...

Эмма Григорьевна Герштейн:

Окружающих она не поучала, не наставляла, не расспрашивала. «Я хочу знать о своих друзьях ровно столько, сколько они сами хотят, чтобы я о них знала», – говорила она. Думаю, что благодаря такому такту дружбы Анны Андреевны длились годами и десятилетиями.

Маргарита Иосифовна Алигер:

Она была удивительно человечна и подчас неожиданно для своего величественного облика внимательна к мелочам, что всякий раз изумляло и трогало меня. Однажды мне пришлось внезапно положить в больницу близкого человека. Я уехала из дому рано утром, а днем примчалась, чтобы собрать и отвезти в больницу необходимые вещи и кое-что из продуктов. У Анны Андреевны кто-то был, она лишь на минутку заглянула в кухню, где я собиралась, и я ничего не стала ей говорить, а рассказала о случившемся лишь вечером, когда мы остались одни.

– Я поняла, – сказала она. – Я догадалась. Когда набивают маслом баночку из-под майонеза, значит, уж непременно ее повезут в больницу...

Наталья Иосифовна Ильина:

Много раз поражала меня ее чуткость, ее полное понимание того, как настроен человек, рядом с ней сидящий, что он чувствует, что думает... Она сама про себя говорила, что на семь аршин под землей видит. И видела.

Беспомощная, зависимая от окружающих, вынужденная к ним постоянно прибегать (то сопровождать ее надо было куда-то, то купить для нее что-то), она совершенно точно знала, кого можно попросить, а кого нельзя. Она умела не ставить ни себя, ни другого в неловкое положение отказывающегося и отказ выслушивающего.

Виктор Ефимович Ардов:

Очень деликатна. Готова хвалить еду, платье, внешность – словом, что угодно, лишь бы не обидеть кого-нибудь.

Но в оценке стихов беспощадно искренна. Тут никогда не лукавит и, преодолевая свою деликатность, говорит прямо: «Мне не нравится».

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Анна Андреевна была органически гуманна, человечна в самом высоком и ответственном смысле слова. Как можно думать, она никогда не соблазнялась распространенным в начале века слишком подвижным отношением к добру и злу и тем более лозунгами ницшеанского аморализма. Она тихо и целомудренно, без показных восторгов, фанфар и сентиментальностей любила свою родину, но была совершенно чужда дурному национализму и нетерпимости к другим нациям...

Анна Андреевна была доброй, как об этом сама, просто, без всякой позы, писала в первой из «Северных элегий». Эта доброта питалась в ней волей ее широкого сердца, в котором Красота, в смысле моральной эстетики, и Добро (добро как благодать и добро как долг) сливались в одно.

Ника Николаевна Глен (р. 1928), *переводчик, редактор, секретарь комиссии по литературному наследию Ахматовой:*

О том, какой Ахматова казалась иногда величественно неприступной, какой «королевой», писали многие. Я тоже не раз видела ее такой – правда, не по отношению к себе. Со мной Анна Андреевна всегда держалась просто, тон ее был ровно дружеским, а помню я ее даже и домашне ласковой, «доброй бабушкой» – хотя это бывало нечасто. Такой, например, пустяк – но и сейчас перед глазами. Утренний чай-кофе у нас за обеденным столом. Я размешиваю сахар и, не вынув ложки, собираюсь пить. Анна Андреевна быстрым и точным движением вынимает ее, кладет мне на блюдце, смотрит смеющимися глазами: «Вы не знали? Теперь будете знать». И еще кое-каким правилам хорошего тона учила – писать на конверте не инициалы, а имя и отчество адресата (разумеется, перед фамилией) и не подчеркивать

имя и фамилию, не резать заранее сыр, когда подаешь его к столу, комкать свежесвыглаженный носовой платок, когда кладешь его в сумочку...

Виктор Андроникович Мануйлов (1903–1988), критик, литературовед, мемуарист:

Анна Андреевна была отзывчива и добра. И доброта ее была деятельной. У нее было удивительное дарование и потребность помогать людям. При первом знакомстве она производила впечатление человека замкнутого, даже нелюдимого. Но эта холодность, скованность, недоступность скрывала не только ранимость, но и чуткое внимание к окружающим, бережное отношение к тем, кто нуждается в помощи. Я всегда бывал бесконечно благодарен ей, когда она обращалась ко мне с просьбой позаботиться о ком-нибудь, похлопотать о чем-то.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

К людям она относилась благожелательно и старалась выделить и подчеркнуть в них то, что признавала хорошим и ценным. Нередко от нее можно было услышать такие определения: замечательный ученый, знаменитый художник, неслыханный успех, дивные стихи (слово «дивный» она особенно любила). Подобные этим оценки были рассеяны и в ее лирике («мой знаменитый современник», «белокурое чудо» и др.). Это изначальное желание Ахматовой видеть в людях прежде всего хорошее, их «актив», если не ошибаюсь, первым в литературе отметил в статье о ней как о поэте ее близкий друг Николай Владимирович Недоброво («Русская мысль», 1915, ¹ 7), в статье, которую она считала едва ли не лучшим из того, что было о ней написано. От Анны Андреевны уходили чаще всего с облегченным сердцем, не смущенными и растерянными, а ободренными.

Валерия Сергеевна Срезневская:

Есть одна черта у Ахматовой, ставящая ее далеко от многих современных поэтов и ближе всего подводящая ее к Пушкину: любовь и верность сердца к людям... <...> Осуждения и ненависти я в ней не видела ни к кому из окружавших ее. Кроме «врагов человечества», вообще жестоких к человеку как таковому и считавших себя «сверхчеловеками».

Корней Иванович Чуковский:

Так как в поэзии и в жизни Анны Ахматовой было много скорбей и обид, читатели могут, пожалуй, подумать, будто характер у нее был угрюмый и мрачный.

Ничто не может быть дальше от истины. В литературной среде я редко встречал человека с такой склонностью к едкой иронической шутке, к острому слову, к сарказму.

Странным образом эта насмешливость совмещалась в ней с добротой и душевностью.

Валерия Сергеевна Срезневская:

А насмешлива она была очень, иногда и не совсем безобидно. Но это как-то шло от внутреннего веселья. И мне казалось, насмешка даже не мешала ей любить тех, над кем она подсмеивалась, за редкими исключениями – таких на моей памяти были единицы. Стоит ли называть их?

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Более чем снисходительность, заранее сверхположительное отношение к чужим стихам было у Анны Андреевны установочным, если это были стихи ее современника, особенно не преуспевающего. Не раз, упрекая в разговоре со мной, иной раз и неосновательно (если это касалось ее стихов) Бориса Леонидовича Пастернака в невнимании к поэтам – его современникам, Ахматова противопоставляла ему Пушкина. Она напоминала, как он ста-

рался найти хорошие если не стихи, то хотя бы строки у поэтов своего круга. Говоря о современной нам поэзии, Анна Андреевна – с небольшими вариантами – нередко повторяла один и тот же набор имен тех, кого считала самыми одаренными: Петровых, Тарковский, Самойлов, Корнилов – о нем от Ахматовой я не раз слышал как о поэте, который сумел ввести в поэзию теперешнюю разговорную речь, язык прозы.

У каждого из окружавших ее молодых поэтов ей хотелось отметить что-то в его пользу: у одного богатство словаря и напор, у другого – тему, раньше не затронутую. О прочитанных ей стихах после по телефону: «Я не могу ни забыть их, ни вспомнить, о них думаю».

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Даже слабых поэтов, которые в большом количестве несли или посылали ей слабые стихи, она предпочитала не огорчать резкими оценками, ограничиваясь нейтральными репликами или несколькими маловыразительными словами о частных удачах. Если же поэт был действительно достоин похвалы, она рада была преувеличить его достоинства.

Игнатий Михайлович Ивановский:

Если Ахматова видела в ком-то из молодых хотя бы проблеск дарования, она не раздумывая приходила на помощь. Вернее было бы сказать «бросалась на помощь», если бы речь шла не о женщине преклонного возраста и далеко не прежнего здоровья.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Нужно добавить, что этика Ахматовой не имела ничего общего с прекрасодушием. О тех людях, которые не отвечали ее моральным требованиям, она говорила с уничтожающей резкостью и совершенно бескомпромиссно.

Наталья Иосифовна Ильина:

Гневалась она и вступала в споры, лишь когда речь касалась предметов, близко принимаемых ею к сердцу. По другим поводам до споров и опровержений не снисходила.

Сергей Васильевич Шервинский:

Крайне редко Анна Андреевна не выдерживала чего-нибудь и вспыхивала. Так, однажды за обедом в Старках одна наша родственница, большая любительница поэзии, позволила себе с ненужной авторитетностью что-то высказать о Пушкине. Анна Андреевна тут же наложила на нее руку, и бедная любительница Пушкина затрепетала, как мотылек на ладони. Хорошо, что божественный гнев прорывался не часто, его суровость ставила жертву в трудное положение.

Лидия Корнеевна Чуковская:

Сознание, что и в нищете, и в бедствиях, и в горе она – поэзия, она – величие, она, а не власть, унижающая ее, – это сознание давало ей силы переносить нищету, унижение, горе. Хамству и власти она противопоставляла гордыню и молчаливую неукротимость. Но сила гордыни оборачивалась пустым капризом, чуть только Анна Андреевна теряла свое виртуозное умение вести себя среди друзей как «первая среди равных». Это случалось с ней редко, но уввы! случалось.

Наталья Александровна Роскина:

У Анны Андреевны были, конечно, свои недостатки, но они как-то ничего в ней не нарушали. Она была очень цельным и крупным человеком и очень ясным – как и ее поэзия.

Иосиф Александрович Бродский (1940–1996), *поэт, лауреат Нобелевской премии 1987 года. Из бесед с Соломоном Волковым:*

...Каким-то невольным образом вокруг нее всегда возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. И принадлежность к этому полю, к этому кругу на многие годы вперед определила характер, поведение, отношение к жизни многих – почти всех – его обитателей. На всех нас, как некий душевный загар, что ли, лежит отсвет этого сердца, этого ума, этой нравственной силы и этой необычайной внутренней щедрости, от нее исходивших.

Мы не за похвалой к ней шли, не за литературным признанием или там за одобрением наших опусов. Не все из нас, по крайней мере. Мы шли к ней, потому что она наши души приводила в движение, потому что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя, от того душевного-духовного – да не знаю, уж как это там называется, – уровня, на котором находился, – от «языка», которым ты говорил с действительностью, в пользу «языка», которым пользовалась она. Конечно же, мы толковали о литературе, конечно же, мы сплетничали, конечно же, мы бегали за водкой, слушали Моцарта и смеялись над правительством. Но, оглядываясь назад, я слышу и вижу не это: в моем сознании всплывает одна строчка из того самого «Шиповника»: «Ты не знаешь, что тебе простили». Она, эта строчка, не столько вырывается из, сколько отрывается от контекста, потому что это сказано именно голосом души – ибо прощающий всегда больше самой обиды и того, кто обиду причиняет. Ибо строка эта, адресованная человеку, на самом деле адресована всему миру, она – ответ души на существование.

Примерно этому – а не навыкам стихосложения – мы у нее и учились. «Иосиф, мы с вами знаем все рифмы русского языка», – говорила она. С другой стороны, стихосложение и есть отрыв от контекста. И нам, знакомым с ней, я думаю, колоссально повезло – больше, я полагаю, чем окажись мы знакомы, скажем, с Пастернаком. Чему-чему, а прощать мы у нее научились.

Игнатий Михайлович Ивановский:

Общение с ней было не меньшей школой, чем ее поэзия. Я знал Анну Андреевну около десяти лет, приходил то довольно часто, то через годы, и продолжительность пауз никогда не имела значения. Ничто не ослабевало и не стушевывалось.

Все было важно – и как она писала, и как жила.

Творчество

Ирина Николаевна Пунина (1921–2003), *искусствовед, дочь третьего мужа Ахматовой Н. Н. Пунина:*

В своем творчестве и в человеческой судьбе Анна Ахматова шла твердо, уверенно, целеустремленно; интересовавшие ее в юности, в молодости поэты, друзья, знакомые в дальнейшем, как бы исчерпав ее интерес к ним, отстранялись ею, иногда даже безжалостно. Ее душа, ее творческая сущность жаждали нового общения, новых открытий. Почти до самых последних лет жизни она редко обращалась к прошлому, прежние знакомства и дружеские связи поддерживала лишь иногда, временами.

И это было не только в силу сложившихся обстоятельств... Огромная личная сила, направленная, главным образом, на творчество, как будто заставляла ее выпивать до дна, исчерпывать взаимоотношения с людьми и затем отстранять со своего жизненного пути тех, кто ей больше не был интересен.

Наталья Иосифовна Ильина:

Литература была делом, ее близко касающимся, непосредственно задевающим, тут она ничего прощать не собиралась, тут была неумолима.

Лидия Яковлевна Гинзбург:

А. А. раздражалась, когда ее называли *поэтессой*, а по поводу рубрики *женская поэзия* (Каролина Павлова, Ахматова, Цветаева) говорила: «Понимаю, что должны быть мужские и женские туалеты. Но к литературе это, по-моему, не подходит».

Анна Андреевна Ахматова:

Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет (оно было чудовищным), но уже раньше отец называл меня почему-то «декадентской поэтессой»... Кончать мне пришлось (потому что семья переехала на юг) уже не Царскосельскую гимназию, а Киевскую (Фундуклеевскую), в которой я училась всего один год. Потом я два года училась на Киевских Высших женских курсах... Все это время (с довольно большими перерывами) я продолжала, писать стихи, с неизвестной целью ставя над ними номера. Как курьез могу сообщить, что, судя по сохранившейся рукописи, «Песня последней встречи» мое двухсотое стихотворение.

Pro domo mea¹ скажу, что я никогда не улетала или не уползала из Поэзии, хотя неоднократно сильными ударами весел по одеревеневшим и уцепившимся за борт лодки рукам приглашалась опуститься на дно. Сознаюсь, что временами воздух вокруг меня терял влажность и звукопроницаемость, ведро, опускаясь в колодезь, рождало вместо отрадного всплеска сухой удар о камень, и вообще наступало удушье, которое длилось годами. «Знакомить слова», «сталкивать слова» – ныне это стало обычным. То, что было дерзанием, через 30 лет звучит как банальность. Есть другой путь – точность, и еще важнее, чтобы каждое слово в строке стояло на своем месте, как будто оно там уже тысячу лет стоит, но читатель слышит его вообще первый раз в жизни. Это очень трудный путь, но, когда это удается, люди говорят: «Это про меня, это как будто мною написано». Сама я тоже (очень редко) испытываю это чувство при чтении или слушании чужих стихов. Это что-то вроде зависти, но благороднее.

¹ О себе (лат.).

Х. спросил меня, трудно или легко писать стихи. Я ответила: их или кто-то диктует, и тогда совсем легко, а когда не диктует, просто невозможно.

Лидия Корнеевна Чуковская:

3 июня 1940. ...Я решила спросить у нее: сейчас, после стольких лет работы, когда она пишет новое, – чувствует она за собой свою вооруженность, свой опыт, свой уже пройденный путь? Или это каждый раз – шаг в неизвестность, риск?

– Голый человек на голой земле. Каждый раз.

Помолчав, она сказала еще:

– Лирический поэт идет страшным путем. У поэта такой трудный материал: слово. Помните, об этом еще Баратынский писал? Слово – материал гораздо более трудный, чем, например, краска. Подумайте, в самом деле: ведь поэт работает теми же словами, какими люди зовут друг друга чай пить...

Дмитрий Николаевич Журавлёв:

Однажды Анна Андреевна рассказала о том *особом самочувствии*, какое предшествует у нее рождению стихов. Неясный еще для самой себя внутренний шум, внутренняя музыка и ритм возникают сначала невнятно, в каком-то звучании-мычании, выливаясь потом в поэтический образ.

Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чужды и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вокруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо...
Но вот уже слышались слова.

Лидия Яковлевна Гинзбург:

Когда Анна Андреевна жила вместе с Ольгой Судейкиной, хозяйство их вела восьмидесятилетняя бабка <...> бабка все огорчалась, что у хозяек нет денег: «Ольга Афанасьевна несколько не зарабатывает. Анна Андреевна жужжала раньше, а теперь не жужжит. Распустит волосы и ходит, как олень... И первоученые от нее уходят такие печальные, такие печальные – как я им пальто подаю».

Первоучеными бабка называла начинающих поэтов, а жужжать – означало сочинять стихи.

В самом деле, Ахматова записывала стихи уже до известной степени сложившиеся, а до этого она долго ходила по комнате и бормотала (жужжала).

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Труднее всего сказать о самом главном в жизни Ахматовой – о том, как рождалась ее поэзия. Ее домашние рассказывали, что, сочиняя стихи, она ходила по своей комнате и, как они выражались, «гудела». Это значило, что она повторяла и проверяла вслух возникавшие в ней слова и строки (Маяковский называл эту изначальную стадию своего стихосозидания

«мычанием» – «Как делать стихи?»). Она обращалась к бумаге чаще всего лишь тогда, когда в ней складывалось все стихотворение, и записывала его на одном из случайных листочков. Самую суть зарождения и протекания творческого процесса и его природу она лучше всего характеризует сама в большом лирическом цикле «Тайны ремесла» (1936–1959) и примыкающих к нему стихотворениях.

Валентин Дмитриевич Берестов (1928–1998), поэт:

Когда приходило вдохновение, Ахматова внезапно исчезала от нас в свою комнату, сказав на прощанье в мужском роде: «Я ушел!» А иногда она вообще к нам не выходила. Окно было завешено. Дверь плотно прикрыта. И вдруг дверь на мгновение открывается, из темноты возникает и машет, как крыло, обнаженная белая рука: «Я – больной!» Но если бы Ахматова не занавесила окно, не легла, не отключилась от мира, она бы и вправду заболела. Вдохновение, как она признавалась в стихах, трепало ее, будто лихорадка. «А потом весь год ни гугу»...

Нельзя представить Ахматову в очках. Она берегла свой облик. В Ташкенте у нее уже не было знаменитой челки. Думаю, расставшись с ней, Ахматова как бы отделилась от себя прежней, повела какой-то новый отсчет времени. И все же я помню Ахматову в очках. Бредет по двору, как лунатик, но только дневной, если такие бывают. Бредет, не видя препятствий, но и не натываясь на них. Петляет между дымящимися дворовыми очагами-мангалами, не замечая ничего вокруг, даже того, что забыла очки на носу. Значит, сочинив, отдернула штору, оделась, бросилась к столу и, нацепив скрываемые от мира очки, принялась записывать, править. Но письменного стола и бумаги ей мало, она, не думая о своем виде, вышла из дому. Кружит по двору, шевелит губами, неслышно проговаривает вариант за вариантом. Когда мы первый раз увидели ее в окно (через комнату мимо нас она прошла незаметно, как тень), она была в сереньком с белой оторочкой по вороту выходном платье, в туфлях на высоких каблуках, очки скрадывают горбинку на «бурбонском» носу.

Анатолий Генрихович Найман:

Говорить про Ахматову «она писала стихи» – неточно: она записывала стихи. Открывала тетрадь и записывала те строки, которые прежде уже сложились в голове. Часто, вместо строчки еще не существующей, еще не пришедшей, ставила точки, записывала дальше, а пропущенные вставляла потом, иногда через несколько дней. <...> Некоторые стихи она как будто находила: они уже существовали где-то, никому на свете еще не известные, а ей удавалось их открыть – целиком, сразу, без изменений впоследствии. Чаще всего это бывали четверостишия... <...>

Когда она «слагала стихи», этот процесс не прерывался ни на минуту: вдруг, во время очередной реплики собеседника, за чтением книги, за письмом, за едой, она почти в полный голос пропевала-проборматывала – «жужжала» – неразборчивые гласные и согласные приближающихся строк, уже нашедших ритм. Это гуденье представлялось звуковым, и потому всеми слышимым, выражением не воспринимаемого обычным слухом постоянного гула поэзии. Или, если угодно, первичным превращением хаоса в поэтический космос. <...> Она настаивала на том, чтобы в стихах было меньше запятых и вообще знаков препинания, но широко пользовалась знаком, который называла «своим», запятой-тире, при этом ссылаясь на того же Лозинского, который сказал ей: «Вообще такого знака нет, но вам можно». Когда я однажды указал ей на одно место в рукописи: «Тут следовало бы поставить запятую», – ответ был: «Я сама чувствовала, что тут есть что-то запятое». <...>

Стихи не оставляли ее и во время болезни – в больнице она написала много известных стихотворений – и даже в бреду, в тифозном бараке сочинила:

Где-то почка молодая,
Звездная, морозная...
Ой худая, ой худая
Голова тифозная, —

и так далее – стихи, которые, по ее словам, некий почтенный профессор цитировал студентам-медикам как пример документальной фиксации видений, посещающих больного тифом.

Иногда стихи ей снились, но к таким она относилась с недоверием и подвергала строгой проверке на трезвую, дневную голову.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Я часто вспоминаю, вернее всегда помню, один коротенький рассказ про Анну Андреевну, который я однажды слышал от Любви Давыдовны Стенич-Большинцовой. Когда она впервые приехала к ней в Комарово, чтобы Анна Андреевна не оставалась там одна, и спали они в одной комнате, первые ночи она подолгу не могла заснуть, потому что Анна Андреевна во сне все время не то что-то бормотала, не то пела. Слов нельзя было различить – только ритм, совершенно определенный и настойчивый: «Казалось, она вся гудит, как улей».

Ника Николаевна Глен:

Одно из самых пронзительных моих воспоминаний: по воле случая я оказалась свидетелем таинства – или, по крайней мере, мне так показалось. Зимой, кажется, 1959 года Ахматова жила в Доме творчества в Комарове. Я приехала туда на два дня повидаться с ней. После обеда, который ей принесли в комнату, Анна Андреевна сказала, что полежит, может быть, заснет, но меня просила не уходить. Я сидела на диване, что-то читала, Анна Андреевна ушла за портьеру, отделявшую кровать. Через некоторое время я услышала стон, испугалась, приоткрыла портьеру – Анна Андреевна лежала с закрытыми глазами, лицо спокойное – по всей видимости, спит. Стон повторился, но тут уже он показался мне каким-то ритмически организованным. Потом еще, а потом Ахматова произнесла довольно внятно, хотя слова и не совсем еще выделились из гудения-стона:

Неправда, не медный,
Неправда, не звон —
Воздушный и хвойный
Встревоженный стон
Они издают иногда.

Когда через некоторое время Анна Андреевна проснулась и вышла ко мне, я сказала ей, что произошло. Отозвавшись на мою потрясенную физиономию лишь лукавым взглядом («А вы что думали? Так оно и бывает» – можно было его истолковать), она заговорила спокойно: «Да, вы знаете, в сегодняшней газете стихи Дудина, и он пишет, что у сосен медный звон, что сосны медные. Это неправда, посмотрите – какие же они медные. Я их хорошо знаю, я всегда их в Будке слушаю. Как там у него? Прочтите, прочтите, это в „Ленинградской правде“».

Я прочла:

И доносится сквозь сон
Медных сосен медный звон.

Ахматова повторила свои строчки и сказала: «А дальше будет лучше». Но, кажется, «дальше» не было.

Здесь же уместно, вероятно, привести один записанный «по свежим следам» телефонный разговор. Позвонив, я, видимо, спросила Анну Андреевну, не помешала ли я ей. В ответ услышала: «...вы ничему не можете помешать. Стихи я сочиняю рано утром, перед тем как проснуться, а в остальное время ничего важного быть не может. Да, да, в молодости я сочиняла вечером и потом спокойно засыпала, уверенная, что не забуду. И не забывала. А теперь уже не то, да вечером как-то и не получается, а утром, перед тем как проснуться, иногда еще ничего, выходит».

И еще о том, как ведут себя стихи. В открытке, которую я получила от Ахматовой из Италии, из Катаньи, Анна Андреевна написала: «Стихи – молчат».

Игнатий Михайлович Ивановский:

Настоящей рабочей порой для Ахматовой всегда была ночь.

Татьяна Михайловна Вечеслова:

Как-то, когда я ближе узнала Анну Андреевну, я спросила ее:

– Анна Андреевна, скажите, как вы пишете стихи?

Мы сидели за столом, было много народу. Она ответила мне тихо, на ухо:

– Это таинство.

Галина Лонгиновна Козловская:

Приблизительно через полгода после знакомства я успела присмотреться к тайне возникновения ее стихов. И хотя тайна всегда оставалась тайной, но были приметы жизни, которые чудесным законом поэзии вписывались, включались в стихи. Было удивительно наблюдать, как реалии жизни вдруг преображались в ее поэзии.

Иногда было достаточно одного слова, какого-нибудь впечатления, нечто случайное и неожиданное – и совершалось магическое преображение. Она сама точно об этом рассказывала: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда».

Лев Владимирович Горнунг:

Софья Яковлевна (Парнок, поэт. – *Сост.*), рассказывая нам о своей поездке, в основном говорила о встрече с Ахматовой.

Очень ее удивило, что свою рукописную тетрадь со стихами Анна Андреевна достала из-под матраца. Стихи были написаны карандашом, и оказалось, что при поправках строки или одного слова Анна Андреевна стирала резинкой старый текст и вписывала новый.

Анна Андреевна объяснила это тем, что после смерти Александра Блока все его черновые рукописи стали доступны посторонним, в них рылись и пытались разобраться уже в первые дни после кончины Блока, и ей видеть это было неприятно. <...>

Парнок хотела подарить свою книгу стихов Ахматовой и подписать ее чернилами, как обычно, но у Ахматовой не нашлось чернил, зато на столе лежал огромный карандаш, толстый, длиною около аршина. Он был остро заточен.

Наталия Александровна Роскина:

Читала она по тетрадке – и я впервые увидела ее косой, округлый, своеобразный почерк, строчки, загибающиеся кверху, как вьющееся растение.

Игнатий Михайлович Ивановский:

Писала она наискосок, концы строк загибались вверх. В конце каждого стихотворения непременно стоял год, месяц и место сочинения.

Михаил Борисович Мейлах:

Анна Андреевна делала надписи обычным для нее четким и предельно простым почерком с очень изящными очертаниями букв – в ее почерке было что-то общее с ее произношением. Строчки пересекали страницу немного наискось (снизу вверх):

Опирая на ладонь свою висок,
вы напишете о нас наискосок

(строки Бродского, из которых последняя взята Ахматовой эпиграфом к стихотворению «Последняя роза»).

Анатолий Генрихович Найман:

Она любила быстрым росчерком рисовать на первой странице рукописи не то знак, не то букву «а», и это была единственная выходящая из-под ее пальцев – если оставить в стороне почерк – графика.

Лидия Корнеевна Чуковская:

11 января 1964. ...Мы сели работать.

Анна Андреевна в кресле. Я за столом. Перед нею две табуретки, на табуретках старый чемодан. На чемодане: очки – без футляра, оправы дыбом! и почему-то, как всегда, неочищенный карандаш. Тупой. Говорит, ей на чемодане удобнее, чем за столом. Высоко над этим табуретно-чемоданным сооружением плечи и прекрасная голова Анны Ахматовой. Наклоняться над бумагой ей не требуется: она зрячая, читает издали. Голова закинута, опущены на бумагу глаза.

Владимир Григорьевич Адмони (1909–1993), поэт, переводчик, литературовед:

Необычайно устойчивым было отношение Ахматовой к поэзии, к стихотворению. Во всех наших бесчисленных разговорах о стихах, при оценке услышанного стихотворения, всегда, среди прочих замечаний, возникала оценка двух его сторон.

Первую из них можно было бы назвать тематической, потому что сама Ахматова нередко, но не постоянно употребляла, касаясь этой стороны стихотворения, слово «тема». Точнее, может быть, здесь было бы слово «постижение» – слово, которое использовала в наших общих беседах и потом сформулировала в своей книге «Заметки о лирике» Тамара (Тамара Исааковна Сильман, жена Адмони. – *Сост.*). И Ахматова порой тоже употребляла это слово, но оно все же не было ее словом, в отличие от слова «тема». Иногда, с прямым вызовом, Ахматова употребляла, впрочем, вместо слова «тема» даже слово «содержание» – слово, отвергнутое новейшей во времена Ахматовой поэтикой, как слишком внешнее и грубо противопоставлявшее смысл стихотворения и его форму. Но Ахматова считала исключительно важным, чтобы стихотворение что-то о чем-то говорило, чтобы оно открывало что-то читателю, притом открывало правильно, касаясь сути того, о чем в стихотворении было сказано. Это относилось в полной мере и к пейзажным стихам.

Я запомнил это особенно хорошо потому, что почти каждое мое стихотворение, которое я читал ей, она оценивала, в частности, «правильное» это стихотворение или нет. И если ей казалось, что оно «правильное», верно говорившее о чем-то читателю, она была удовлетворена. Сначала она объясняла такой свой подход теми соображениями, о которых я уже

сказал. Затем перестала это делать и просто говорила, верно ли то, что сказано в стихотворении.

А второе соображение, постоянно принимаемое Ахматовой в расчет при формулировке своего отношения к стихотворению, это мера его лаконичности. Чем сжатее, короче было стихотворение, тем больше ценила его Ахматова и не раз говорила, что сама всячески стремится, хотя и тщетно, к сконцентрированности. На наши восклицания, что она всегда была великим мастером краткого стихотворения, Ахматова отвечала, что прежде ее поэзия была действительно такой, но что теперь (это «теперь» прозвучало в первый раз в конце сороковых годов) такая лаконичность порой не дается ей и что порой в таких случаях она предпочитает оставить стихотворение фрагментом.

Конечно, говорилось не только о теме и краткости стихотворения. Более того, говорилось об этом лишь тогда, когда – молчаливо или явно – стихотворение считалось состоявшимся, когда оно звучало как подлинная поэзия. Но это не разбиралось, как не разбираются в самом факте чуда, если ему поверили; Ахматова разбиралась, скорее, в том, не злоупотребил ли поэт этим чудом и был ли он достаточно строг к себе.

Лидия Яковлевна Гинзбург:

Ахматова создала лирическую систему – одну из замечательнейших в истории поэзии, но лирику она никогда не мыслила как спонтанное излияние души. Ей нужна была поэтическая дисциплина, самопринуждение, самоограничение творящего. Дисциплина и труд. Пушкин любил называть дело поэта – трудом поэта. И для Ахматовой – это одна из ее пушкинских традиций. Для нее это был в своем роде даже физический труд.

Один из почитателей Анны Андреевны как-то зашел к ней, когда она болела, жаловалась на слабость, сказала, что пролежала несколько дней одна в тишине.

– В эти дни вы, должно быть, писали, Анна Андреевна...

– Нет, что вы! Разве можно в таком состоянии писать стихи? Это ведь напряжение всех физических сил.

Труд и самопроверка. В разговоре с Анной Андреевной я как-то упомянула о тех, кто пишет «нутром».

– Нутром долго ничего нельзя делать, – сказала Анна Андреевна, – это можно иногда, на очень короткое время.

– А как Пастернак? В нем все же много иррационального.

– У него это как-то иначе...

Лирика для Ахматовой не душевное сырье, но глубочайшее преобразование внутреннего опыта. Перевод его в другой ключ, в царство *другого слова*, где нет стыда и тайны принадлежат всем. В лирическом стихотворении читатель хочет узнать не столько поэта, сколько себя. Отсюда парадокс лирики: самый субъективный род литературы, она, как никакой другой, тяготеет к всеобщему.

В этом именно смысле Анна Андреевна говорила: «Стихи должны быть бесстыдными». Это означало: по законам поэтического преобразования поэт смеет говорить о самом личном – из личного оно уже стало общим.

Наталья Иосифовна Ильина:

Как-то в присутствии Анны Андреевны я спросила Марию Сергеевну Петровых об одной молодой поэтессе. «Она способная!» – ответила Мария Сергеевна. И тут Ахматова гневно: «Способных поэтов не бывает! Или поэт, или нет! Это не та работа, когда, вставши рано поутру, умывшись, садишься за стол: дай, дескать, потружусь. Стихи – это катастрофа. Только так они и пишутся. Если не так – читатель сразу поймет и почувствует!»

Анна Андреевна Ахматова:

Стихи еще делятся (для автора) на такие, о которых поэт может вспомнить, как он писал их, и на такие, которые как бы самозародились. В одних автор обречен слышать голос скрипки, некогда помогавший ему их сочинить, в других – стук вагона, мешавшего ему их написать. Стихи могут быть связаны с запахами духов и цветов. Шиповник в цикле «Шиповник цветет» действительно одуряюще благоухал в какой-то момент, связанный с этим циклом.

Это, однако, относится не только к собственным стихам. У Пушкина я слышу царско-сельские водопады («сии живые воды»), конец которых еще застала я.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Как-то, когда я пришел к Анне Андреевне на Ордынку, она мне сказала, что к ней вернулось раньше написанное стихотворение, которое она забыла. Оно было посвящено Пастернаку: «И снова осень валит Тамерланом...» Ахматова была обрадована случайной находке: из-за того, что она плохо помнила свои стихи и далеко не всегда (из осторожности) их записывала, а архив ее много раз погибал (при обысках, а иногда и когда сама она сжигала часть бумаг), у нее не так много сохранялось из сочиненного после тридцатых годов. Много хранилось в памяти таких ее слушательниц, как Лидия Корнеевна Чуковская. Но часть стихов пропала навсегда.

Лидия Корнеевна Чуковская:

3 февраля 1964. ...Анна Андреевна надела очки и принялась читать. Страницу за страницей читала весьма сосредоточенно. Собственной рукою не исправляла ничего, но мне иногда диктовала поправки и даты. С датами беда: то продиктует не только год, но и месяц и число, и даже час суток, а один раз – число, но ни года, ни месяца. Не обошлось и без внезапных приступов гнева: она так иногда сердится на строки, ею самую созданные, будто это не она сочинила, а кто-то другой, очень глупый.

Владимир Григорьевич Адмони:

Вопреки всей своей внутренней цельности и устойчивости, Ахматова, когда мы познакомились, весьма неодобрительно относилась к поэзии своих молодых лет, которая сделала ее знаменитой. Ахматовой казалось, что эта ее прежняя поэзия заслоняет поэзию новую, более значительную, более мощную. Ахматовой представлялось необычайно несправедливым, что она все еще слывет – и у нас, и за рубежом – автором преимущественно любовных и камерных стихов. Я постоянно спорил с Ахматовой и защищал от нее ее собственные стихи.

Анна Андреевна Ахматова:

У поэта существуют тайные отношения со всем, что он когда-то сочинил, и они часто противоречат тому, что думает о том или ином стихотворении читатель.

Мне, например, из моей первой книги «Вечер» (1912) сейчас по-настоящему нравятся только строки:

Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.

Мне даже кажется, что из этих строчек выросло очень многое в моих стихах.

С другой стороны, мне очень нравится оставшееся без всякого продолжения несколько темное и для меня вовсе не характерное стихотворение «Я пришла тебя сменить, сестра...» – там я люблю строки:

И давно удары бубна не слышны,
А я знаю, ты боишься тишины.

То же, о чем до сих пор часто упоминают критики, оставляет меня совершенно равнодушной.

Маргарита Иосифовна Алигер:

К своим молодым стихам она относилась безжалостно, судила их жестоко, как людей: они и недобры, и неумны, и даже бесстыдны. Разъяснила мне природу такого отношения. Когда после долгого непечатания держала корректуру сборника «Из шести книг», увидела их вдруг совсем другими глазами, другим зрением, из другого времени, из другой жизни, из другой себя. И безжалостно осудила. Если кто-нибудь заговаривал о них или, не приведи господи, из самых добрых намерений, обмирая от восторга, произносил какие-нибудь общеизвестные строки, у нее делалось отчужденное, замкнутое лицо и она торопливо произносила: «Да, да, благодарю вас!» – торопясь оборвать разговор и повернуть его в другое русло.

– И это уже непоправимо, – сухо говорила она. – И я решительно не могу понять: чем, почему они так нравились людям?

Алексей Владимирович Баталов:

...Анна Андреевна позволяла себе иронизировать по поводу собственных знаменитейших стихов. И это ничуть не противоречило ее внешней царственности, не нарушало ее внутренней поэтической гармонии. Напротив, только дополняло и обогащало ее образ, сообщая ему то четвертое измерение, по которому Мандельштам отличал поэзию от рифмованных строк. <...>

Но самое безжалостное, публичное издевательство над стихами Анны Андреевны устраивалось в виде представления. Гости, которых Ахматова развлекала таким образом, особенно преданные почитатели, каменели и озирались, точно оказавшись вдруг в дурном сне. Теперь я могу засвидетельствовать, что вся режиссура и подготовка этого домашнего развлечения принадлежат самой Анне Андреевне. Хотя, конечно, тут есть и своя предыстория.

Когда, вернувшись в Москву, на эстраде вновь появился Вертинский, кажется, не было человека, который избежал бы увлечения этим артистом.

...Благодаря множеству общих друзей Вертинский скоро появился и в доме Ардова. А на лето наши семьи поселились в дачном поселке Валентиновка, где издавна отдыхали многие актеры театра, певцы, писатели и художники. Таким образом я получил возможность не только часто бывать на концертах Александра Николаевича, но и наблюдать его дома. Необычайно доброжелательный, остроумный и какой-то открыто талантливый человек, Вертинский легко заражал окружающих своей фантазией и постоянно поддерживал малейшие проблески творческих начинаний, так что ни одно домашнее торжество не обходилось без выдумки и всяческих веселых сюрпризов.

И вот для одного из таких дачных собраний силами молодежи Давид Григорьевич Гутман подготовил Вертинскому ответное представление, в котором я должен был изобразить самого Александра Николаевича.

...Александр Николаевич смеялся больше всех и после подготовленного номера заставил меня спеть еще несколько куплетов из разных песен. Надо сказать, что секрет успеха заключался не столько в самом исполнении, сколько в невероятном знании материала. Кроме слов всего репертуара Вертинского, бывая на концертах, я выучил и все его жесты, притом не только вообще присущие ему, а точно к каждому куплету.

С тех пор номер и остался для разных домашних и студенческих развлечений. Постепенно я настолько приспособился к пластике и характеру интонации, что легко подменял текст, заменяя слова песен нужными к случаю сочинениями. Особенно несуразно и смешно звучали в манере салонного романса стихи Маяковского. Анна Андреевна не раз заставляла меня повторять эти пародии и таким образом прекрасно знала весь мой репертуар.

И вот однажды при большом собрании гостей после чтения стихов, воспоминаний и всяческих рассказов вечер постепенно перешел в веселое застолье. Стали перебирать сценические накладки, изображали актеров, читали пародии и так постепенно добрались до Вертинского. Ничего не подозревая, я изобразил несколько куплетов, в том числе и на стихи Маяковского, и уже собирался уступить площадку следующему исполнителю, как вдруг Анна Андреевна сказала:

– Алеша, а вы не помните то, что Александр Николаевич поет на мои стихи?

Я, конечно, помнил переложённые на музыку строки Ахматовой «Темнеет дорога приморского сада...», но Вертинский в те годы не включал этот романс в программу концертов, и его можно было слышать только в грамофонной записи. На этом основании я и стал отговариваться от опасного номера.

– Но это неважно, – улыбнулась Анна Андреевна, – тогда какие-нибудь другие, как вы берете из Маяковского... Пожалуйста, это очень интересно.

Так я во второй раз оказался лицом к лицу с автором. Только теперь напротив меня вместо Вертинского сидела Ахматова, а вокруг, как и тогда, – несколько притихшие настоящие гости. Отступать было некуда, мой верный аккомпаниатор уже наигрывал знакомые мелодии. Здесь следует заметить, что даже переложение Маяковского выглядит не столь противоестественно и разоблачающе, как в случае с Ахматовой, потому что у него речь идет все-таки от лица мужчины, в то время как сугубо женские признания и чувства Ахматовой в соединении с жестом и чисто мужской позицией Вертинского превращаются почти в клоунаду.

Я сразу почувствовал это и потому решительно не знал, что же делать. Тогда, как бы помогая, Анна Андреевна начала подсказывать на выбор разные стихи. И тут мне стало совсем не по себе – это были строки ее лучших, известнейших сочинений...

Но она явно не хотела отступать. В такие минуты глаза Ахматовой, вопреки царственно-спокойной позе, загорались лукаво-озорным упрямством и казалось, она готова принять любые условия игры.

Подсказывая, как опытный заговорщик, каждое слово, она наконец заставила меня спеть первые строки. Я осмелел, и романс стал понемногу обретать свою веселую форму.

Так в тот раз Анна Андреевна публично организовала и поставила этот свой пародийный номер, которым потом нередко «угощала» новых и новых гостей. Думаю, многие из них и сегодня не простили мне того, что я делал со стихами Ахматовой, поскольку не знали ни происхождения этой пародии, ни той лукавой мудрости и внутренней свободы, с которыми Ахматова относилась к любым, в том числе и своим собственным творениям.

Все это можно бы оставить в сундуке сугубо домашних воспоминаний и не связывать с представлениями о поэзии Ахматовой, но в таких, несколько варварских развлечениях, а главное, в том, как относятся к ним сами герои, мне всегда чудится и некоторое проявление скрытой силы, ясности авторского взгляда на мир и на свое место в нем. Будучи совершенно явным исключением среди всех окружающих, Анна Андреевна никогда сама не огораживала свои владения, не исключала ни себя, ни свои стихи из окружающей ее жизни.

Она всегда охотно читала свои новые сочинения друзьям, людям разных поколений и спрашивала их мнение и слушала их противоречивые суждения, а главное, до последних дней действительно была способна слышать то, что они говорили.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Помню, как Ахматова раз отозвала меня в сторону и стала читать незадолго до того написанные стихи «Родная земля» («В заветных ладанках...»). Впервые написанное (так было и со стихотворением, где есть строки «Такое выдумывал Кафка и Чарли изобразил») Анна Андреевна читала иногда очень тихо (но обычно наизусть – видимо, последнее написанное помнила хорошо, сбивалась редко). Ей нужна была рецензия, необходимо было удостовериться в качестве только что написанного. Ее заботила реакция того, кто слушал одним из первых. Потом она могла прочитать их и еще – или на следующий раз, или в более широком обществе (первое чтение Анна Андреевна предпочитала при одном слушателе). Так, «Родную землю» вскоре я услышал, когда мы вместе были у Ивана Дмитриевича Рожанского.

Виталий Яковлевич Виленкин:

На какое-нибудь замечание по поводу ее нового стихотворения, или отдельного стиха, или слова никогда не возражала, но, помолчав, обычно говорила: «подумаю», а иногда просто молча кивала в ответ головой. Бывало, проверяла себя, заранее требуя от слушателя полной откровенности. Несколько раз я от нее слышал: «Я знаю, вы мне скажете *всю* правду», «Только скажите мне совершенно откровенно, хорошо?» и т. д.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Ахматова много думала о большой повествовательной форме. Часто она фиксировала внимание на неиспользованных сюжетах современности. Однажды мы обсуждали судьбу общей знакомой. Десятилетиями она питала душу обманчивыми надеждами.

– Еще один пропавший сюжет, – заметила я.

– Нет, – возразила Анна Андреевна. – Об этом уже написано. – И она стала излагать содержание рассказа Джона Стейнбека «О мышах и о людях», тогда еще у нас не переведенного. <...>

Когда рассказ Стейнбека был напечатан по-русски, я сопоставляла его с изложением Ахматовой и не находила пластических сцен, запомнившихся с ее слов, не испытывала пронзительной жалости к убогим и трагическим душам этих людей и не ощущала так явственно сквозной идеи рассказа о безнадежной надежде.

То же самое было с «Процессом» Кафки, который Анна Андреевна прочла по-французски. Она пересказывала содержание романа гостям, собравшимся в ее ленинградской квартире на улице Красной Конницы. Лет через 6–7 «Процесс» вышел у нас в русском переводе. Я начала его читать. Где эти мрачные предзнаменования и предчувствия, набегавшие как волны? Где огненные повороты сюжета? Почему я не чувствую острой новизны будней? Мне виделись два просторных ленинградских окна, большой обеденный стол, за ним мы все – немного чужие друг другу – молча слушаем сдержанный и раскаленный рассказ Ахматовой.

Видимо, эти пересказы были для Ахматовой каким-то вторичным творческим процессом. Отсюда ее живейший интерес к построению сюжета. Каждый новый прочитанный роман подвергался ее придирчивой критике. Она проверяла линии развития сюжета, правильность мотивировок. Если она находила отклонения от истины в деталях, все произведение для нее разваливалось. Она прочла известный французский роман, где завязка строится на уличной сцене, увиденной из окна мансарды. Анна Андреевна проанализировала топографию описанного места и пришла к выводу, что улица не могла быть видна из этого окна. И какой бы острой ни была проблематика или динамичной фабула, после таких ошибок роман уже не мог привлечь ее внимания.

Все это признаки непрерывной внутренней работы, знаменовавшей тяготение Ахматовой к выходу в новые литературные жанры.

Как-то я сделала мимолетное признание, вовсе не ссылаясь на лефовскую теорию «литературного факта» и не цитируя Льва Толстого, хотя можно было тогда привести его известные слова: «Со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Петровича... Писатели... будут только рассказывать то значительное... что им случилось наблюдать...» Без привлечения этих авторитетов я говорила Анне Андреевне о том же, но как о своей индивидуальной склонности.

– Значит, просто в вас этого нет, – воскликнула Анна Андреевна. – Это – *самое главное!* Итак, самое главное – художественный вымысел.

Восклицание Ахматовой – ключ к ее затаенным интересам. Ни занятия Пушкиным, ни мемуарные очерки, ни работа над автобиографией, ни публицистические статьи (а публицистическим темпераментом пронизаны многие работы Ахматовой о Пушкине) – вся эта деятельность не покрывала ее тяги к прозе. Мне кажется, что Ахматовой владело неосознанное стремление создать традиционный психологический роман на широком историческом фоне XX века. Но все это брожение творческих сил впитала в себя «Поэма без героя».

Надежда Яковлевна Мандельштам:

А. А. сказала, что, вероятно, писала бы прозу, а не только стихи, если бы жизнь сложилась иначе. Мне не очень верится: в исследованиях о Пушкине звучит ее жесткий голос и чувствуется сила анализа, в отдельных же автобиографических отрывках она как-то все смягчает, осторожничает, стусевывает. Писем же, по которым можно судить о свободной прозе, она никогда не писала, чтобы неосторожным словом не выдать в них себя. У нее был хороший предлог отказаться от писем: противно писать, когда знаешь, что твое письмо вскрыют и прочтут не те, кому оно адресовано, но и в юности она на этот счет была сдержанна.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Как-то раз у меня собралось довольно много народа, и Анна Андреевна вошла в комнату во время разговора о Кафке, которого тогда, впрочем, еще мало кто из нас читал в подлиннике или хотя бы в переводе. Усевшись в кресло, она без малейшей паузы включилась в этот разговор и моментально им завладела. Мы все рты разинули, когда она по общей просьбе стала пересказывать нам роман «Процесс», причем пересказывать так, что было впечатление, будто мы слушаем самого автора. До сих пор думаю, что это было какое-то наитие сотворчества: ни одного лишнего слова в этом потоке подробностей, как бы перегонявших одна другую, но в то же время поразительно рельефных. Продолжалось это странное действо чуть ли не целый час, но Анна Андреевна не устала нисколько, только щеки у нее разгорелись и глаза необычно блестели.

Мargarита Иосифовна Алигер:

Творческая работа происходила в ней всегда и принимала подчас неожиданные формы. Никто не знал и не видел, когда она писала стихи, – это естественно и нормально. Но иногда она говорила:

– Сегодня всю ночь не спала и совершенно придумала сценарий. Ну до того придумала, что остается только сесть и записать.

Мне было удивительно это слышать: Анна Ахматова – и сценарий! Вот уж не вяжется! А она, значит, думала и о кино.

Рассказывала о написанной во время войны пьесе о летчике. Опять странно: Анна Ахматова – и авиация! Но все это влекло ее, присутствовало в ней.

Анатолий Генрихович Найман:

К переводу Ахматова относилась как к необходимой тягостной работе и впрягалась в этот воз даже не пушкинской «почтовой лошадейю просвещения», а смиренной ломовой, трудящейся на того или другого хозяина. Каким бы уважением или симпатией ни пользовался поэт, которого она переводила, он был мучитель, требовал сочинения русских стихов, и непременно в больших количествах, потому что она зарабатывала на жизнь, главным образом, переводами. Свои стихи она писала когда хотела: то за короткий период несколько, то за полгода ничего, – а переводила каждый день, с утра до обеда. Потому-то она и предпочитала братья за стихи поэтов, к которым была безразлична, и еще охотней – за стихи средних поэтов: отказалась от участия в книге Бодлера, не соглашалась на Верлена.

Это вовсе не значит, что она неохотно работала: все-таки это были стихи, а она была Ахматова. Качество работы, которую она сдавала редактору, было безупречным: она называла себя, чуть-чуть на публику, профессиональной переводчицей, ученицей Лозинского. Среди своих переводов выделяла сербский эпос («вслед за Пушкиным»), некоторые из корейской классической поэзии, «Скиталец» румына Александру Тома...

Она переводила Незвала, которого называла «парфюмерным», Гюго, которого просто не любила, Тагора, которого оценила уже по окончании работы, да мало ли еще кого. Она обвиняла в неосведомленности или в сведении личных счетов и т. п. критиков, ставивших в упрек переводчику перевод с подстрочника. «Мы все переводим с подстрочника: тот, кто знает язык оригинала, на какой-то стадии все равно видит перед собой подстрочник». Она негодовала, когда прочла в книге Эткинда, что перевод «Гильгамеша», сделанный Дьяконовым, точнее гумилёвского: «Коля занимался культуртрегерством, и только, он переводил с французского – как тут можно сравнивать!»

Ее замечания о переводимом материале сплошь и рядом носили иронический характер. «Белые стихи? – говорила она, принимаясь за какого-нибудь автора. – Что ж, благородно с его стороны». Она владела белым стихом в совершенстве, а с рифмой, хотя и дисциплинирующей переводчика, ей приходилось бороться.

Игнатий Михайлович Ивановский:

Стихотворный перевод Ахматова называла трудным и благородным искусством.

Сама она обратилась к переводу лишь на склоне лет. Переводила по подстрочникам, причем сразу отличала и высоко ценила хороший подстрочник. Но даже хороший подстрочник не удовлетворял Анну Андреевну. Вникнув в него и, если была возможность, послушав чтение стихотворения в подлиннике, Ахматова создавала свой собственный подстрочник и только тогда принималась переводить.

Она не ставила переводы в общий ряд с собственными стихотворениями, как это делали Пушкин и Лермонтов, но никогда не переводила равнодушно. Ее внутренний отклик мог быть сильнее или слабее, но чувствуется он в каждом переводе. <...>

Как-то сказала:

– Рифма в своих стихах помогает, ведет. В переводе это орудие пытки. <...>

Когда Ахматова взялась за переводы с корейского, встал вопрос о стихотворном размере. Русская и корейская системы стихосложения несоизмеримы. Как быть?

По просьбе Анны Андреевны к ней пришли студенты-корейцы. Пели, играли на своих инструментах. Ахматова вслушивалась. На размер она махнула рукой и просто написала стихи, соображаясь со смыслом и настроением подлинника. Это был единственно правильный выход.

Лидия Яковлевна Гинзбург:

И она обладала особым даром *чтения*. В детстве, в ранней юности мы читаем бескорыстно. Мы перечитываем, перебираем прочитанное и твердим его про себя. Постепенно это юношеское чтение вытесняется профессиональным, вообще целеустремленным чтением, ориентированным на разные соображения и интересы. Анна Андреевна навсегда сохранила способность читать бескорыстно. Поэтому она знала свои любимые книги как никто.

Готовя комментарий к различным изданиям, приходилось нередко сталкиваться с нераскрытой цитатой из Данте, Шекспира, Байрона. По телефону звоню специалистам. Специалисты цитату не находят. Это вовсе не упрек – по опыту знаю, как трудно в обширном наследии писателя найти именно ту строку, которая вдруг кому-то понадобилась.

Остается позвонить Анне Андреевне. Анна Андреевна любила такие вопросы (их задавала ей не я одна) – она называла это своим справочным бюро. Иногда она определяла цитату сразу, не вешая телефонную трубку. Иногда говорила, что для ответа требуется некоторый срок. Не помню случая, чтобы цитата осталась нераскрытой.

Игнатий Михайлович Ивановский:

Ахматова говорила, что у поэта непременно должен быть досуг. Время, когда он, по-видимому, ничем не занят.

Конечно, она имела в виду не ленивое и никчемное безделье, а тот досуг сознания, когда открывается полная свобода подсознательной работе мозга.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Когда Анна Андреевна брала в руки русскую книгу писателей-эмигрантов первой волны, она прежде всего останавливала свое внимание на их языке. Ей бросалась в глаза его правильность. Но это – мертвый язык, говорила она. Живя вне стихии языка родного, меняющегося, развивающегося, писать нельзя, утверждала она.

Анна Андреевна очень придирчиво относилась к отклонению от норм русского языка в устной речи окружающих. Вместе с тем она охотно вводила в свою речь современные арготизмы. Она скучала, если в общении с близкими звучала только правильная речь. Отсюда пристрастие Анны Андреевны ко всякого рода домашним кличкам или литературным цитатам, превращенным в семейные поговорки. <...>

Бранное обращение «свинья» Анна Андреевна заменяла домашним арготизмом: «свин», «полусвин», «свинец». <...>

Специфические советские выражения Анна Андреевна вводила в свою речь сознательно.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Ахматову занимал тот сор, из которого растут стихи («Когда б вы знали...»). Она говорила, что поэзия вырастает из таких обыденных речений, как «Не хотите ли чаю?». И из них нужно сделать стихи. В этом для нее было и чудо поэзии, и невыносимые трудности сочинения стихов.

Она мне признавалась, что у нее бывает страх, что стихов вообще больше не будет. От него даже она не была ограждена.

Эдуард Григорьевич Бабаев (1927–1997), поэт, писатель, литературовед:

В моей записной книжке сохранились отдельные ее высказывания о поэзии, непохожие на афоризмы, но имеющие законченную форму, благодаря которой они и запоминались как стихи:

- В стихах главное, чтобы каждое слово было на своем месте.
- Писать надо по крайности. Если этого нет, то лучше воздержаться.
- Многописание не делает поэта...

– Лучшие стихи пишут «на случай», как «Вчерашний день, часу в шестом...» Некрасова...

Игнатий Михайлович Ивановский:

– Если вам скажут, что стихи – занятие для молодых людей, не верьте. Возраст не играет роли.

Она это доказала.

Свойства ума и мышления

Лидия Корнеевна Чуковская:

24 июня 1940. Понимает она, угадывает, схватывает с удивительной тонкостью и верностью.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Много думавшая и глубоко переживавшая «личное» и «общее», то, что относилось к исторической и духовной жизни, она была человеком с позицией, с убеждениями, с принципами. Но все это, как часто бывает у людей артистического строя, не приобретало у нее характера системообразных построений. В этом отношении она была далека от символистов, которые редко обходились без концепций или систем – собственных или заимствованных у их предшественников. И однако это отнюдь не лишало мировоззрение Ахматовой направленности и постоянства.

Исайя Берлин (Berlin; 1909–1997), *английский философ, общественный деятель:*

В Ахматовой ум, способность к острой критической оценке и иронический юмор сосуществовали с представлением о мире, которое было не только драматичным, но иногда – провидческим и пророческим...

Анатолий Генрихович Найман:

В ее оценках людей, притом что в суждениях она была воплощенный здравый смысл, на первый план выдвигалась принадлежность их к искусству или отношение к нему.

Исайя Берлин:

Ее суждения о личностях и поступках других людей совмещали в себе умение зорко и пронизательно определять самый нравственный центр людей и положений – и в этом смысле она не щадила самых ближайших друзей – с фанатической уверенностью в приписывании людям мотивов и намерений, особенно относительно себя самой. Даже мне, часто не знавшему действительных фактов, это умение видеть во всем тайные мотивы казалось зачастую преувеличенным, а временами и фантастическим. Впрочем, вполне вероятно, что я не был в состоянии до конца понять иррациональный и иногда до невероятности прихотливый характер сталинского деспотизма. Возможно, что даже сейчас к нему неприменимы нормальные критерии правдоподобия и фантастического. Мне казалось, что на предпосылках, в которых она была глубоко уверена, Ахматова создавала теории и гипотезы, развивавшиеся ею с удивительной связностью и ясностью. <...> У этих концепций, казалось, не было видимой фактической основы. Они были основаны на чистой интуиции, но не были бессмысленными, выдуманными. Напротив, все они были составными частями в связной концепции ее жизни, жизни и судьбы ее народа, основных проблем, о которых Пастернак когда-то хотел говорить со Сталиным, в картине мира, которая формировала и питала ее воображение и искусство.

Виктор Ефимович Ардов:

Ее суждения о людях, событиях, о нравах – жизненных и литературных – были бескомпромиссны.

Иной раз Анна Андреевна произносила свое суждение:

– Это против добрых нравов литературы.

И переубедить ее, уговорить, что дело обстоит не так, было невозможно.

Конечно, всегда права была Ахматова, а не ее не слишком щепетильные оппоненты.

Исайя Берлин:

Ахматова ни в коем случае не была визионером, напротив, у нее было сильное чувство реальности. Она могла описывать литературную и светскую жизнь Петербурга до Первой мировой войны и свою роль в ней с таким ярким и трезвым реализмом, что все представляло как живое перед глазами.

Иосиф Александрович Бродский. *Из бесед с Соломоном Волковым:*

Качество памяти было у нее поразительное. О чем бы вы ее ни спросили, она всегда без большого напряжения называла год, месяц, дату. Она помнила, когда кто умер или родился. И действительно, определенные даты были для нее очень важны.

Виктор Андроникович Мануйлов:

Она помнила не только все когда-либо прочитанное и услышанное, но и даты исторических событий, выхода в свет тех или иных книг. Меня всегда удивляли ее точные, с множеством характерных подробностей воспоминания о ее молодых годах в Царском Селе, о встречах с И.Ф. Анненским – директором Царскосельской гимназии, известном поэте, которого она позже назвала своим учителем, о литературной жизни дореволюционного Петербурга.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

В разговорах с Анной Андреевной особенно поражала ее блистательная, феноменально точная память, которая распространялась на явления культуры в такой же мере, как и на мелочи жизненных отношений. (Мне приходилось, например, слышать от нее приблизительно такие фразы: «А прошлым летом вы говорили мне то-то и то-то».)

Наталья Иосифовна Ильина:

Бывало, расскажешь ей что-то с тобой случившееся, тебя касающееся, забудешь, а она помнит. Несколько раз у меня были случаи убедиться в том, что мои обиды, на которые я в свое время жаловалась ей и которые потом забывала, она помнила. Она не забывала ничего. Это удивляло меня и трогало.

Анатолий Генрихович Найман:

Это правда, что мелочи, попадавшие в сферу ее внимания, она наделяла грандиозностью, которая окружающим казалась излишней.

Михаил Борисович Мейлах:

Ахматова обладала редкостной памятью, наблюдательностью, зоркостью, она тотчас замечала то, на что другие не обращали внимания. Взяв однажды в руки выпуск «Paris Match», посвященный незадолго до того умершему Черчиллю, который остальные перед тем успели просмотреть, она указала на нескольких фотографиях детали, которых никто не заметил, такие как орден Подвязки на ноге Черчилля, или то, что на одном из снимков министр пьян. Она удерживала в памяти не только, как это бывает у пожилых людей, события давнего времени, но и все текущие события.

Анатолий Генрихович Найман:

Ее острый слух («собачий», «как у борзой» – если использовать ее замечания о других) вылавливал в обыденной беседе, в радиопередаче, в прочитанном ей стихотворении несколько слов, которые, произнесенные ею, выделенные, обособленные, обретали новый смысл, вид, вес.

Наталья Иосифовна Ильина:

...Ахматова видела вещи под каким-то иным, непривычным углом: всякие обыденности в устах ее становились значительными – это поражало меня. Той осенью в Голицыне я открыла в ней блестящий сатирический дар, а несколькими годами позже – и дар комический, что тоже поразило меня... Как-то в Москве я зашла за ней к Ардовым, чтобы вместе ехать куда-то. Анна Андреевна стояла посреди комнаты в туфлях на босу ногу, держа в руке чулок. Увидев меня, объявила: «Если вдуматься, одного чулка мало!»

Юмор Ахматовой был мне близок, доставлял наслаждение необыкновенное, я хохотала до слез, она меня останавливала, сама не сдерживая улыбки: «Перестаньте смеяться над старухой!»

У этой величавой женщины, умевшей оцепеняюще действовать на присутствующих, был абсолютный слух на юмор, а основной признак присутствия такого слуха – это, мне думается, умение смеяться над собой, умение видеть себя в смешном свете.

Виктор Борисович Кривулин (1944–2001), поэт:

Уже тогда (при первой встрече. – *Сост.*) я почувствовал особую природу ахматовского юмора. Почти все, что она говорила, можно было понимать двояко, двусмысленно. Чем дольше я общался с ней, тем очевиднее становилось, что любое ее высказывание может быть прочитано вплоть до обратного смысла. Это была ирония по отношению ко времени, к себе, по отношению к современникам и к прошлому и, естественно, по отношению к нам. Какая-то тотальная, удивительная ирония, можно сказать, небесная, моцартианская. Ирония, которая для меня до сих пор значит гораздо больше даже, чем ее стихи. Потому что этот самый воздух, которым может дышать поэзия, где каждое слово имеет двойные, тройные смыслы.

Анатолий Генрихович Найман:

Чувство сценичности происходящего было свойственно ей в высшей степени. Есть очень живая фотография ее и пианиста Генриха Нейгауза, сидящих на диване и беседующих, – сделанная незадолго до смерти и его, и ее. А.А. комментировала снимок: «Эта сцена из драмы какого-то скандинава. Она ему признается: „Теперь, когда прошло столько лет, я должна тебе сказать, что сын – не твой“. Он хватается за голову... А сын тем временем уже профессор в Стокгольме».

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Но в чем я убежден, так это в важности для Ахматовой юмора как очень существенной части европейской культуры (в отличие от восточной, по ее мнению). Она умела находить смешные черты во многом, что иначе казалось бы непереносимо страшным или неизгладимо скучным. Она могла быть язвительной или изысканно остроумной, но понимала и вкус грубой шутки. Как-то Анна Андреевна сказала мне: «И как мы разговариваем? Обрывками неприличных анекдотов». Один из таких обрывков она любила особенно. Не раз я слышал от нее уместную реплику: «Тоже красиво».

Анатолий Генрихович Найман:

В ее стихах юмор редкость, а в разговоре, особенно с близкими, она часто шутила, и вообще шутливый тон всегда был наготове. Иногда она намеренно сгущала краски, описывая какое-то событие, какое-то свое дело, – ей предлагали тот или иной выход, она говорила: «Не утешайте меня – я безутешна». Негодовала из-за чего-то, ее пытались разубедить – это называлось «оказание первой помощи». Ей советовали что-то, что было неприемлемо, она произносила иронически: «Я благожелательно рассмотрю ваше предложение». Ольшевская

жаловалась на нее, что вот, столько дней безвыходно просидела дома, не дышала свежим воздухом, она добродушно защищалась: «Грязная клевета на чистую меня».

Она смеялась анекдотам, иногда в голос, иногда прыскала. Вставляла в разговор центральную фразу из того или другого, не ссылаясь на самый анекдот. «И как правильно указывает товарищ из буйного отделения...»; «Сначала уроки, выпить потом...»; «То ли, се ли, батюшка, а то я буду голову мыть...». К пошлости была нетерпима, однажды сказала, возмущившись: «Все-таки есть вещи, которые нельзя прощать. Например, „папа спит, молчит вода зеркальная“, как недавно осмелились при мне пошутить. А сегодня резвился гость моих хозяев: „Отчего Н. лысый – от дум или от дам?“» Терпеть не могла и каламбуры, выделяя только один – за универсальное содержание: «маразм крепчал». Однажды сказала: «Я всю жизнь была такая анти-антисемитка, что когда кто-то стал рассказывать еврейский анекдот, то присутствовавший там Х. воскликнул: „Вы с ума сошли – как можно, при Анне Андреевне!“» <...>

Она шутила щедро, вызывая улыбку или смех неожиданностью, контрастностью, парадоксальностью, но еще больше – точностью своих замечаний, и никогда – абсурдностью, в те годы входившей в моду. Она шутила, если требовалось – изысканно, иногда и эзотерично; если требовалось – грубо, вульгарно; бывали шутки возвышенные, чаще – на уровне партнера. Но никогда она не участвовала в своей шутке целиком, не отдавалась ей, не «добивала» шутку, видя, что она не доходит, а всегда немного наблюдала за ней и за собой со стороны – подобно шуту-профессионалу, в разгар поднятого им веселья помнящему о высшем шутковстве.

Михаил Борисович Мейлах:

Ахматова умела находить решения простые и естественные, подсказанные самим ходом вещей. Однажды к ней приехала молодая поэтесса, которая во всем произвела на нее хорошее впечатление, кроме выбранного ею псевдонима. Анна Андреевна спросила у нее фамилию бабушки, которая оказалась подходящей, и вопрос был решен, как более полувека назад для самой Ахматовой. Что-то похожее было и в том, как Ахматова регулировала продолжительность визитов: если посетитель выказывал нерешительность, следует ли ему оставаться дольше, она говорила, взглянув на часы: «Сейчас без четверти шесть? Посидите до шести». Она мудро обращалась со временем: «В день надо делать не больше одного дела».

Собеседница

Галина Лонгиновна Козловская:

Искусство высокого собеседничества, а это действительно ныне утраченное искусство, у Ахматовой было ослепительным.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Общение с Анной Андреевной при свиданиях с ней с глазу на глаз всегда было нелегким. Трудность эта иногда даже переходила в какую-то тяжесть: уж очень крепким концентратом становились порой ее беседы, с их неожиданными углублениями и поворотами, с их какой-то, как я теперь понимаю, непрерывной, неослабевающей существенностью, то есть, проще говоря, с полным отсутствием болтовни и с невольным возникающим отсюда чувством ответственности за свои собственные слова. Хотя, в отличие, например, от Булгакова или, как рассказывают, от Мандельштама, Анне Андреевне, по-моему, совершенно не была свойственна способность незаметно экзаменовывать своего нового собеседника.

Михаил Борисович Мейлах:

Создавалось впечатление, что в словах собеседника она встречается с чем-то давно знакомым, с чем ей приятно встретиться снова и черты чего она готова вновь опознать, а эти ее *petits mots* только соразмеряют происходящее с тем, ей хорошо известным. Попробую определить такое их свойство, как «модальность» – установление зависимости от чего-то, что, однако, трудно было бы назвать. Так, когда собеседник вспоминал что-то, что не представлялось ей значительным, но что она помнила тоже, она говорила: «Что-то было...» «Так тоже бывает», – говорила она, когда, например, узнавала что-нибудь, что как-то выпадало из обычного хода вещей (так, когда я снова навестил ее в Боткинской больнице в Москве после того, как давно уже должен был уехать в Ленинград: «Вы не уехали? Так тоже бывает...»). «Ни за что! Лучше смерть!» – это шутливо, по незначительному какому-нибудь поводу, так же, как: «Этого я вам никогда не прощу». Иногда Анна Андреевна обращалась к собеседнику за подтверждением того, в чем вполне была уверена сама: «Ведь правда?» На вопрос засидевшегося гостя, не занимает ли он рабочее время Ахматовой, ответ прозвучал: «Все равно все пропало».

Такие реплики, как «однако» или «тоже неплохо», позволяли Ахматовой не принимать настоящего участия в разговоре, который был ей неинтересен, не обижая при этом собеседника. На какой-нибудь вопрос вроде: «Правда ли, что она сейчас пишет книгу о Пушкине?» – она могла с веселой интонацией ответить: «Говорят!» «И всё так...» – могло быть сказано по поводу мелкой неудачи или в ответ на жалобу, которая не казалась Ахматовой достойной. Зато – «только так и бывает» – по поводу очередной какой-то нелепой истории.

Наталья Александровна Роскина:

Анна Андреевна была удивительной собеседницей – терпеливой, расположенной; не помню, чтоб она хоть раз дала мне почувствовать мое невежество, а ведь только теперь мне ясно, сколько раз она могла это заметить!

Анатолий Генрихович Найман:

В беседе всегда была самой собой, произносила фразы спокойным тоном, предельно ясно и лаконично, не боялась пауз и не облегчала, как это принято, ничего не значащими репликами положение собеседника, если ему было не по себе. К тому, что приходят из любопытства или тщеславия, относилась покорно, как к неизбежному, и бывала довольна, если

во время такого визита возникало что-нибудь неожиданно интересное. Некоторые решались прийти к ней просто поделиться горестями, чуть не исповедаться – и уходили утешенные: хотя она говорила мало.

Наталья Иосифовна Ильина:

Бессмысленных слов она не говорила никогда. Тем паче слов, которые способны задеть или встревожить собеседника. Английская поговорка: «Воспитанный человек никогда не бывает груб без намерения» – подходила к ней, как ни к кому другому. Так называемых неосторожных слов у нее не вырывалось. Она твердо знала, *что* она говорит и *зачем*...

Наталья Александровна Роскина:

Она никогда не говорила зря. Болтливость, суесловие, ломанье – все это было ей, как никому, чуждо. Она говорила интересно – или молчала. Притом ее высказывания были так лаконичны и остроумны, что, казалось бы, чего проще донести их до бумаги. Но, во-первых, это только казалось. Речь ее была такой, что теперь, вспоминая ее, я чувствую: на бумаге слишком много слов. Она никогда не употребляла современных словечек, а если употребляла, то иронически, приговаривая: «Знаете, как теперь говорят...» И вместе с тем никогда не выражалась старомодно. Очень терпима она, кстати, была к тому, как говорили при ней.

Анатолий Генрихович Найман:

Ее собственная речь, какой бы ни блистала живостью, всегда производила впечатление составленной из тщательно и долго отбирившихся слов.

Михаил Борисович Мейлах:

Труднее сказать о том, как говорила Ахматова, и такие слова, как «неторопливо», «делая паузы», «величественно», пожалуй, мало что пояснили бы. Легче сказать о ее произношении, которое по некоторым фонетическим признакам относится к так называемому старому петербургскому. Ахматова произносила глубокое заднее *a* (но сильно редуцированное в безударном положении после шипящих: «шеги», «шелить»), ее речи было свойственно упрощение групп согласных, – но прежде всего четкость, ясность артикуляции. Быть может, еще и потому стихи Ахматовой в ее собственном чтении приобретали особенную выразительность. (На преимущественно артикуляционную ориентированность стиха Ахматовой в свое время указывал Б.М.Эйхенбаум.) Речь Ахматовой воспета в русской поэзии: «Твое чудесное произношенье», «Ваша горькая божественная речь». Замечу, кстати, что слова «поэт», «поэзия» Ахматова по традиции, поддержанной Гумилёвым, произносила с отчетливым, нимало не редуцированным *o*. Некоторые йоты она вокализowała, например, в слове «пейзаж» (без слогового *и* не удастся прочесть стих, которым открывается вторая «Северная элегия»: «Так вот он, тот осенний пейзаж...»). Всякое слово приобретало в ее устах почти вещественную плотность, становилось единственно возможным. И, может быть, не стоило бы специально останавливаться на том, что романские слова – латинские, итальянские, и почему-то русские фамилии, восходящие к тюркским корням (включая собственную: «Имена пяти поэтов начинаются на „Ах“», – шутила Ахматова), звучали в ее произношении удивительно красиво.

Анатолий Генрихович Найман:

При общении с ней возникало отчетливое ощущение трех временных потоков, самостоятельно, но и во взаимодействии включавших в себя каждую протекающую минуту. Во-первых, реальное время – суток, года, состояния здоровья, домашней атмосферы, политической обстановки и т. д. Во-вторых, как это бывает у старых людей, время возраста, время жизни, в котором ничего из прожитого не пропадает, в котором сиюминутный себе-

седник, или снегопад, или смена правительства оказываются среди других, когда-то реальных собеседников, снегопадов, смен правительств. Тут появлялись тени, множество теней, почти материализующихся из ее памяти, своим призрачным присутствием вмешивающихся в беседу, корректирующих твою речь и поведение. «Очень переменилась одежда, – сказала она. – Неожиданно и быстро: я не могу представить себе Колю одетым, как вы, в куртку и свитер». И в тот же миг «Коля», в черном сюртуке и белой рубашке со стоячим воротником, оглядывал меня скептически. В-третьих, сама осознавая свою жизнь составной частью исторического времени, она обыденным замечанием вовлекала в эту тысячелетия текущую реку тех, кто оказывался близ нее. В детстве я услышал от друга моих родителей, ориенталиста, фразу, произнесенную к случаю, которая во многом сформировала мое последующее отношение к истории: «У нас в Ассирии за это на кол сажали». «У нас в Египте», «у нас в Риме», «у нас – гибеллинов, елизаветинцев, ордынцев» – было не столько острым словом в устах Ахматовой, сколько непосредственным ощущением.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Разговаривать с нею о литературе и о чем угодно всегда было интересно и приятно, но нередко как-то невольно, стихийно она направляла беседу от общего к частному, к темам, касающимся ее лично – ее поэзии или ее жизни, – и это было тоже интересно, но все же ограничивало горизонты общения, отнимало от него какую-то долю свободы и непринужденности.

Анатолий Генрихович Найман:

Контекст ее биографии переделывал «под себя» все попадавшее в ее орбиту, даже явления периферийные, даже чуждые ей.

Эмма Григорьевна Герштейн:

В беседе Анна Андреевна любила цитировать поэтов-современников. Иногда к слову, как, например, в тридцатых годах пастернаковское: «Повесть наших отцов, точно повесть из века Стюартов, отдаленней, чем Пушкин, и видится точно во сне». А еще чаще без внешнего повода. Анна Андреевна высоко ценила стихотворение Мандельштама на смерть Ольги Ваксель и часто скандировала:

И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели, —

или:

Я трамвайная вишенка страшной поры,
И не знаю, зачем я живу.

Не раз возвращалась к отдельным строкам ее любимого воронежского стихотворения «...кого, как тень его, пугает лай и ветер косит...».

Анатолий Генрихович Найман:

Как будто из бездонного мешка, набитого ее прошлым, она доставала нужные ей или собеседнику факты, эпизоды, фразы, при надобности снабжаемые академически пунктуаль-

ным комментарием дат, мест и обстоятельств, а чаще – без ссылок на происхождение, оторванно от времени, или упоминая о нем приблизительно, или намеренно темно.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

В разговорах Ахматовой были некоторые излюбленные темы, иногда и повторившиеся формулы и остроты или целые рассказы. Она сама знала за собой склонность к их повторению и сама над собой подшучивала: «Есть у меня такая пластинка».

Анатолий Генрихович Найман:

«Пластинками» она называла особый жанр устного рассказа, обкатанного на многих слушателях, с раз навсегда выверенными деталями, поворотами и острыми местами, и вместе с тем хранящего, в интонации, в соотносённости с сиюминутными обстоятельствами, свою импровизационную первооснову. «Я вам еще не ставила пластинку про Бальмонта?.. про Достоевского?.. про паровозные искры?» – дальше следовал блестящий короткий этюд, живой анекдот наподобие пушкинских table-talk, с афоризмом, применимым и применявшимся впоследствии к сходным или обратным ситуациям. Будучи записанными ею – а большинство она записала, – они приобретали внушительность, непреложность, зато, как мне кажется, теряли непосредственность.

Наталья Александровна Роскина:

У нее ничего нельзя было узнать ни о ком. Я знала о ее дружбе с профессором Н.Я.Берковским, и когда вышла в свет его великолепная книга статей, то стала о нем расспрашивать Анну Андреевну, но никак не могла ничего выудить – какой он. Тогда я спросила по-женски: «А какая у него жена?» Она ответила: «Жена... Елена Александровна».

На один мой монолог обвинительный она не ответила ни одним возражением, а сказала только: «Я ее люблю». Ее правилом было не рассказывать о близких людях никаких подробностей.

Михаил Васильевич Толмачёв:

...Она умела каменно молчать в тех случаях, когда разговор о «третьих лицах» был ей нежелателен.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Впрочем, обычно всякое несогласие с ней она принимала терпимо, конечно, за исключением принципиальных разногласий. Она не спешила признавать свою неправоту или ошибку, но умела уважать и даже как-то внутренне принимать возможность иного мнения, другой точки зрения – качество вообще редкое. Очень умела терпеливо и внимательно выслушивать всякую более или менее серьезную критику...

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Анна Андреевна принимала с видимым удовольствием выражение удивления и радости (а у экспансивных посетителей – восхищения), вызванных ее стихами. Она относилась к мнению слушателей очень внимательно и, как показал мой опыт, хорошо и надолго запоминала отдельные оценочные замечания. При этом в тех очень редких случаях, когда мои суждения имели критический оттенок, она, в отличие от многих других поэтов, не испытывала или не обнаруживала досады. Бывало и так, что мои сомнения как будто отвечали ее собственным раздумьям, и тогда на мои осторожные советы она кратко отвечала: «Подумаю» – или что-нибудь в этом роде. Но иногда сомнения мои решительно отводились. Когда, например, послушав в комаровской Будке ее прекрасное стихотворение «Читатель», я позволил себе высказать сомнение по поводу введенного в его текст чужеродного английского

термина («Лайм-лайта холодное пламя»), она решительно настаивала на его уместности и необходимости.

Сергей Васильевич Шервинский:

Анна Андреевна вообще была неразговорчива. Более того, у нее была тягостная манера общения. Она произносила какую-нибудь достойную внимания фразу и вдруг замолкала. Беседа прерывалась на какие-то мгновения, и восстановить ее бывало трудно. Тема не подхватывалась, приходилось делать новое усилие, и эта «прерывность», противоречащая самому существу «беседы», была тяжела. Лишь изредка Анна Андреевна оживлялась как собеседница. Иногда – после нескольких глотков вина. Может быть, подобные уходы в себя во время разговора были следствием долгих, год за годом, тяжелых переживаний. Может быть, выработавшаяся, тоже годами, величавость поведения сдерживала свободное излияние мысли.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Вообще Анна Андреевна отнюдь не казалась молчаливицей, хотя была склонна скорее к молчанию, чем к разговору. Я не слышал от нее длинных монологов или продолжительных рассказов. Она любила сжимать свои мысли в афоризмы, часто меткие, яркие и остроумные. Отзывалась на шутку и сама хотела и умела шутить. Но иногда среди беседы неожиданно замолкала.

– Да... – говорила она в каком-то слегка печальном, медленном раздумье.

И становилось тихо и грустно. А она казалась не большим поэтом, а просто старым, усталым человеком.

Виталий Яковлевич Виленкин:

На бумаге воспоминания о любом человеке – это всегда все-таки некая искусственная штриховка его облика, а главное – невольная концентрация его высказываний. Вот и я, перечитывая написанное, боюсь, как бы Ахматова не стала на этих страницах «речистой», с готовыми к случаю рассказами, суждениями, характеристиками. А ведь она была молчаливой. Правда, это вовсе не противоречило ее способности вдруг чем-то загореться, разговариваться, вести горячую, увлекательную беседу. Естественно, что такие моменты особенно и запоминались. Но все-таки фон ее обычного немногословия, даже на людях, даже в гостях, нужно иметь в виду.

Интересы, увлечения, пристрастия

Маргарита Иосифовна Алигер:

Всю жизнь она много читала на разных языках и никогда, по-моему, просто беллетристику и развлекательную литературу. Читала она тоже по-своему: всегда одновременно несколько книг и никогда не подряд, страницу за страницей. И удивительно помнила прочитанное. Однажды, увидев у меня четырехтомную «Золотую ветвь» Фрэзера, стала вспоминать почти наизусть целые страницы.

А когда она лежала в больнице с первым инфарктом, В.Ардов заказал для нее специальный пюпитр, на который ставились книги, большие, тяжелые, серьезные книги. Иногда английские или французские.

Виктор Ефимович Ардов:

Анна Андреевна много читала по-английски, по-немецки, по-французски и даже по-итальянски. Часто делилась с нами впечатлениями о прочитанном. Ее оценки всегда были значительны и принципиальны. Многие модные новации вызывали в ней иронию. Особенно она не любила продолжателей Фрейда в беллетристике. И вообще-то она терпеть не могла великого психоаналитика. Говорила, что он перенес на весь мир частую для венских аристократов расстановку сил: престарелый отец, в свое время женившийся на молодой девушке против ее воли, и для самой этой дамы, и для ее ребенка представляется врагом и соперником. А в нормальной семье так не бывает.

Галина Лонгиновна Козловская:

У Анны Андреевны было три великие любви, которые она перечитывала каждый год. Это были – дантовская «Божественная комедия», которую она читала по-итальянски, Шекспир – все трагедии, в подлиннике, и конечно же Пушкин целиком.

Я заметила, что она почти никогда не вспоминала театр, то есть постановки и актеров (хотя сама в ту пору писала пьесу). Она так хорошо знала Шекспира, что ей не нужны были ни театр, ни актеры. Лучшим театром было ее воображение.

Но английским произношением не владела, и было трудно ее понять, в то время как трудностями и архаизмами она почти не смущалась. Ей нравился мой английский язык, и она часто просила ей читать вслух Шекспира. Помню, что особенно мы любили перечитывать начало пятого акта «Венецианского купца» с дивными стихами Лоренцо и Джессики – «В такую ночь». Я потом иногда думала, не откликнулись ли годы спустя в творчестве Ахматовой строчки Шекспира: «В такую ночь печальная Дидона с веткой ивы стояла на пустынном берегу». Хотя Энеида всегда была при ней. Образ Дидоны не раз возникал в ее стихах.

Анна Андреевна довольно равнодушно слушала мои воспоминания о шести великих Гамлетах, виденных мной в Англии, но зато с интересом расспрашивала о моем американском детстве, довольно причудливом...

Наталья Александровна Роскина:

Лет тридцати она, по ее словам, подумала: «Как глупо прожить жизнь и не прочесть в подлиннике Шекспира». Шекспир был ее любимейшим писателем из нерусских. (Из русских – Пушкин и Достоевский.) Она стала заниматься английским языком: первые несколько уроков ей дал Маршак, а потом сама читала всякие грамматики и самоучители, часов по восемь в день. «Через полгода я свободно читала Шекспира».

Анатолий Генрихович Найман:

Она рассказывала, что некий молодой англичанин жаловался на трудности чтения шекспировского текста, архаичный язык и проч. «А я с Шекспира начала читать по-английски, это мой первый английский язык». Вспоминала, что, отыскав незнакомое слово в словаре, ставила против него точку; попав на него снова, вторую точку и т. д.: «Семь точек значило, что слово надо учить наизусть». «Основную часть англичан и американцев я прочла в бессонницу тридцатых годов», – упомянула она однажды. Среди них были Джойс и Фолкнер. Читала она по-английски, почти не пользуясь словарем, а говорила с большими затруднениями, с остановками, ошибаясь в грамматике и в произношении.

Исайя Берлин:

После некоторого молчания она спросила меня, хочу ли я послушать ее стихи. Но до этого она хотела бы прочесть мне две песни из «Дон Жуана» Байрона, поскольку они имеют прямое отношение к последующему. Даже несмотря на то что я хорошо знал поэму, я не мог бы сказать, какие именно песни она выбрала, поскольку, хоть она и читала по-английски, ее произношение было таким, что я не мог понять ничего, за исключением одного или двух слов. Закрыв глаза, она читала наизусть, с большим эмоциональным напряжением. Чтобы скрыть свое замешательство, я поднялся и выглянул из окна. Позднее я сообразил, что, может быть, именно так мы декламируем классическую греческую или латинскую поэзию. И ведь нас неизъяснимо волнуют эти слова, которые в нашем произношении, может быть, были бы совсем непонятны их авторам и слушателям.

Корней Иванович Чуковский:

Она была одним из самых начитанных поэтов своей эпохи. Терпеть не могла тратить время на чтение модных сенсационных вещей, о которых криком кричали журнально-газетные критики. Зато каждую свою любимую книгу она читала и перечитывала по нескольку раз, возвращаясь к ней снова и снова.

Ее отзывы о книгах, о писателях всегда восхищали меня своей самобытностью. В них сказывался свободный, пронизывающий ум, не поддающийся стадным влияниям. Даже не соглашаясь с нею, нельзя было не любоваться силой ее здравого смысла, причудливой меткостью ее приговора.

Галина Лонгиновна Козловская:

В своих суждениях о писателях она не была чужда некоторого максимализма и непостоянства. Так, когда ей дали впервые прочесть «Прощай, оружие» Хемингуэя и спросили, что она о нем думает, она сказала: «Просто обыкновенный гений». Говорят, годы спустя она его невзлюбила и отказывала ему в достоинствах. Хотя этому противоречит множество эпиграфов, которые она из него брала.

Она была удивительно пристрастна к Толстому. Она не могла простить ему его отношения к Анне Карениной. Для нее словно не он создал этот женский образ во всей пленительности и правде, она упрямо не могла простить ему его внутреннего осуждения ее. И ни эпиграф к роману и никакие доказательства не могли убедить ее. Она считала, что в глубине души моралист и человек Толстой, Толстой-ревнивец, был врагом женщины, ушедшей от мужа. Она говорила: «Да, он, конечно, гениален, но...» – и она продолжала защищать создание Толстого от него самого.

Не любила она и Чехова. У нее был странный угол зрения на его творчество. Несправедливый и непонятно почему очень пристрастный. Она говорила: «Была великолепная жизнь, как прекрасна всякая жизнь, дарованная, чтобы ее прожить. А Чехов словно закутывает все в пепел. Все у него скучно, и люди серые, и носятся они со своей скукой и тоской неизвестно почему. И живут, не зная жизни».

Зато как она была забавна и неистоцима, разнося в пух и прах Брюсова: «Скажите, разве это поэт, который говорит себе: „Сегодня я должен написать два сонета, три триолета и один мадригал. Завтра мне надо написать балладу, романс и три подражания древним“?» Эти *надо* и *должен* обыгрывались ею очень смешно. Ее не трогали его эрудиция и ум. Она предпочитала образованность иного склада, как, например, Вячеслава Иванова.

К женщинам-поэтам была строга и говорила, что за всю жизнь встретила двух настоящих – Марину Цветаеву и Ксению Некрасову. Некрасову, трудную и непохожую на других, она очень ценила, верила в нее и бесконечно много ей прощала. Так было в Ташкенте, что было потом, не знаю. Бедную, голодную, затурканную, некрасивую и эгоцентрично агрессивную Некрасову легко было пихать, высмеивать и отталкивать. Но Анна Андреевна была самой прозорливой и самой доброй. Она прощала ей все ее выходки, грубости, непонимание, словно это было дитя, вышедшее из леса, мало знавшее о людях и еще меньше о самой себе.

В противоположность Толстому она с какой-то петербургской страстью любила Достоевского. В особенности сферу его города, квартир, площадей, домов, всю его ауру – как-то почти сценически.

К Гоголю она часто возвращалась и видела в нем обладателя самого фантастического, самого фантазмагорического взора на жизнь и людей, когда-либо бывшего в России...

К моему удивлению и огорчению, высказывания Анны Андреевны о Тургеневе носили оттенок той самой снисходительности, полууважительности, которые отмечают отзывы о нем именно русских, как современников, так и многих потомков.

Я высказала Анне Андреевне свои огорчения и сказала, что всю жизнь удивлялась тому, что ни один литературовед не написал книгу-исследование «Тургенев глазами русских и глазами великих деятелей европейской культуры». <...>

Из всех видов искусств кроме поэзии наиболее близким и наибольшего охвата и понимания была для нее живопись. Здесь она знала все, все оценила, все любимое пронесла через жизнь. Она хранила в себе поистине огромное богатство. Жизнь подарила ей встречи с великим множеством художников. Для многих она сама стала объектом художественного воплощения.

Но ни на одном портрете, писанном художником, не запечатлено самое ее удивительное выражение. Это выражение появлялось на ее лице только тогда, когда упоминались два имени. Это были Иннокентий Анненский и Михаил Булгаков. Сколько у нее было более близких друзей, скольких людей она любила, но лишь эти двое, вспоминаемые ею, были единственными, которые вызывали нечто в ее душе, что порождало это чудесное, нежное, слегка отрешенное выражение лица. Мне почему-то казалось, что в основе лежало особое чувство поклонения, которым она больше никого не почитала.

Наталья Александровна Роскина:

Она следила и за новой литературой. Между прочим, очень любила детективные романы («Ночь с детективом – это чудесно»); но, кажется, это был единственный род плохой литературы, который она признавала. Чаще всего она читала замечательные книги. Все великое было ей сродни. Я заставляла ее за перечитыванием Данте по-итальянски. Когда вышел пастернаковский перевод «Фауста», она сказала: «Всю жизнь читала это в подлиннике, и вот впервые могу читать в переводе».

Корней Иванович Чуковский:

Историю России она изучала по первоисточникам, как профессиональный историк, и когда говорила, например, о протопопе Аввакуме, о стрелецких женках, о том или другом декабристе, о Нессельроде или Леонтии Дубельте, – казалось, что она знала их лично. Этим она живо напоминала мне Юрия Тынянова и академика Тарле. Диапазон ее познаний был

широк. История древней Ассирии, Египта, Монголии была так же досконально изучена ею, как история Рима и Новгорода.

Наталья Александровна Роскина:

Анна Андреевна была противницей популярного литературоведения и особенно столь распространившегося к середине XX века жанра *vie romanis e* (романизированная биография, *фр.* – *Cост.*). Ей были интересны строгие исследования, построенные на документах, она читала их основательно, запоминала.

Сергей Васильевич Шервинский:

Я очень ценил в Анне Андреевне то, что она хорошо чувствовала архитектуру. В этом смысле она отражала и увлечение века, открывшего архитектуру для русских интеллигентных профанов, а отчасти и ее личное окружение зодчеством Петербурга, – впоследствии, уже под старость лет, Анна Андреевна в вызывающем стихотворении о Царском Селе открыто декларировала свое утомление от восхищения петербургскими красотами...

Она не только в поэзии, но и во всех искусствах была знатоком. Как в одной-двух строчках стихов она умела, еще смолodu, сказать так много о любимом ею «городе беды», так беглым замечанием или даже просто внимательно направленным взглядом могла оправдать художественное бытие того или иного памятника. Сама Анна Андреевна с ее строгостью и стройностью внешней и внутренней, с не изменявшим ей чувством России замечательно сочеталась с памятниками древнерусской архитектуры.

Наталья Александровна Роскина:

Ленинград знала она изумительно, в архитектуре была как дома (говорила: «Люблю архитектуру больше всех искусств»). Знала автора каждого здания, знала историю его перестроек – с той культурой знания и той дотошностью, которую она, при кажущемся отсутствии педантизма, вносила во все, чем увлекалась. Она любила подвести меня к красивому месту каким-то новым ходом, чтобы оно открылось внезапно, любила обращать мое внимание на всякие тонкости зодчества и трогательно радовалась моему восхищению.

Однажды она указала на башенку Кунсткамеры: «Правда, прелесть?» «Да, – сказала я и добавила: – Ведь так приятно с вами соглашаться». Она улыбнулась лукаво: «Ну почему же. Вы могли бы, например, сказать: эта башенка могла бы быть чуть-чуть пошире». Ярко помню одну нашу прогулку к Инженерному замку, где ей нравились красиво и обдуманно посаженные цветы. Еще хлеб давали по карточкам (да и все прочие продукты), а ленинградцы послеблокадные украшали свой измученный город, и это ее восхищало. Она была оживлена и несколько раз повторила: «Какие молодцы! Ах, какие молодцы!» Был чудесный солнечный день, и весь облик Ахматовой был так гармонически близок архитектурному пейзажу, и так весело она шурилась на солнце...

Виктор Ефимович Ардов:

Анна Андреевна всегда проявляла интерес к архитектуре.

Однажды она заметила, что Лев Толстой был равнодушен к красоте зданий. Он знал только одно: старое или новое здание – то, в котором живут персонажи его произведений.

В 1937 году мы шли с ней по Фонтанке, я провожал ее домой, в Шереметевский дворец. Она спросила меня:

– На вас действует ленинградский пейзаж?

Я ответил восторженно.

Ахматова вздохнула и промолвила:

– А я уже привыкла, к сожалению...

Виталий Яковлевич Виленкин:

Никаких особых разговоров о живописи, вообще об изобразительном искусстве у нас не было. Но как-то повелось, что, приходя ко мне, Анна Андреевна просила достать с полки какую-нибудь хорошую монографию или репродукции картин какого-нибудь музея и с удовольствием, не торопясь их перелистывала. При этом иногда обнаруживались ее пристрастия: например, европейскую готику, Джотто и итальянское кватроченто она явно предпочитала Рафаэлю и Леонардо, а Эль Греко – всем другим «испанцам». Сезанна и Дега любила больше, чем последовательных импрессионистов, а Гогена ей было просто «не нужно». Мне казалось, что не очень нужен ей и Пикассо, и я всегда удивлялся, что, прожив столько лет рядом с Н.Н.Пуниным, с таким талантливым и влиятельным знатоком новейшего искусства, Анна Андреевна сохранила полную самостоятельность своих вкусов. А вот о Шагале она никогда не говорила равнодушно и всегда готова была еще раз его посмотреть, хотя бы в репродукции. Недаром Витебск Шагала попал в ее «Царскосельскую оду», да еще в каком качестве – как параллель к собственному поэтическому замыслу: «Но тебя опишу я, / Как свой Витебск – Шагала».

Виктор Ефимович Ардов:

Театр она не любила.

Например, никогда не была в Художественном. Но у нас дома был альбом, посвященный очередному юбилею МХАТа. Ахматова полистала его, посмотрела фотоиллюстрации и сказала свой приговор, так сказать, заочно:

– Ну, так... Теперь я вам скажу: все, что относится к современности, они умеют делать хорошо, а исторические пьесы у них не удаются. Особенно плох у них должен быть Шекспир.

На мой взгляд, это удивительно верно!

Галина Лонгиновна Козловская:

Как хорошо слушала она музыку!..

Когда разговор зашел о Дебюсси, Анна Андреевна сказала: «А я была с ним знакома». Только много лет спустя, в Москве, при встрече с Анной Андреевной мы узнали, как однажды во время банкета, который давал в честь Дебюсси Кусевицкий, рядом с ней весь вечер сидел Дебюсси. В конце он подарил Ахматовой музыку своего балета «Мученичество Святого Себастьяна» с дарственной надписью. И вдруг Анна Андреевна, повернувшись к Алексею Федоровичу, сказала: «Я вам ее подарю». И, улыбаясь, подошла к телефону, набрала номер своей ленинградской квартиры и, указав Ирине Николаевне, где лежат ноты, велела ей их немедленно выслать в Москву Ардовым. Муж мой был счастлив, но как же опечалились они оба, когда на следующий день из Ленинграда ответили, что ноты не нашлись.

Если говорить о музыкальных пристрастиях Ахматовой, надо в первую очередь отметить ее особую склонность к полифонистам XVII и XVIII веков. Она любила Вивальди, но больше всех Баха.

Вообще на всю сферу чувств и эмоций Баха Ахматова откликалась живо и глубоко.

У Моцарта из того, что она знала, она больше всего любила «Реквием» и часто просила играть ей Массонскую траурную музыку. Всегда узнавала музыку «Дон Жуана».

Но должна отметить, что к опере как к жанру она, по-моему, была довольно равнодушна. Явно отдавала предпочтение балету. Она с юности до поздних дней дружила с блистательными балеринами Мариинского театра. И вся атмосфера балетных подмостков навсегда была окутана особой поэтической аурой.

Всю жизнь она оплакивала смерть Лидии Ивановой, которую она считала самым большим чудом петербургского балета.

Из русских опер она знала и любила по-настоящему «Хованщину» и «Пиковую даму». Зато печалилась и кляла Модеста Чайковского за ужасающе плохие стихи. И все повторяла, как мог Чайковский писать такую музыку на такие бездарные слова.

Ахматова часто удивлялась тому, как многие композиторы были невзыскательны в отношении художественных достоинств стихов, на которые писали музыку. «Что Тютчев, что Ратгауз – все равно».

Лучшим русским романсом она считала «Для берегов отчизны дальней» Бородина, прекрасными – «Пророк» Римского-Корсакова и «Сирень» Рахманинова. «Многое уйдет, а сирень останется», – говорила она.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Почти не бывало случая, чтобы, придя ко мне, Анна Андреевна не попросила музыки (так и слышу ее: «А музыка будет?»). Ей достаточно было нашего убогого проигрывателя и заигранных пластинок. На вопрос, что она хотела бы послушать, чаще всего отвечала: «Выберите сами» (что это будет классическая музыка, а если современная, то либо Прокофьев, либо Стравинский, – разумелось само собой). Но иной раз «заказывала» совершенно определенно: Бетховена, Моцарта, Баха, Шумана, Шопена. И почти как правило, чтобы играл Рихтер. Он ее не только восхищал как музыкант, но и как личность интересовал ее чрезвычайно; она меня часто о нем расспрашивала, зная о нашей давней дружбе.

Я любил незаметно смотреть на нее, когда она слушала музыку. Внешне как будто ничего в ней не менялось, а вместе с тем в чем-то неуловимом она становилась иной: так же просто сидела в кресле, может быть, только чуть-чуть прямее, чуть-чуть напряженнее, чем обычно, и что-то еще появлялось незнакомое в глазах, в том, как сосредоточенно смотрела куда-то прямо перед собой. А один раз, когда мы с ней слушали в исполнении Рихтера шумановскую пьесу с обманчивым названием «Юмореска» (кажется, один из самых бурных полетов немецкой романтики), я вдруг увидел, что она придвигает к себе мой блокнот, берет карандаш и довольно долго что-то записывает; потом отрывает листок и спокойно прячет его к себе в сумку. Когда музыка кончилась, она сказала: «А я пока стишок сочинила». Но так тогда и не показала и не прочла, а я не осмелился попросить. Но потом несколько раз читала это стихотворение у меня и у себя, и всегда с предисловием: «Вот стихи, которые я написала под музыку Шумана»:

...И мне показалось, что это огни
Со мною летят до рассвета,
И я не дозналась – какого они,
Глаза эти странные, цвета.

И все трепетало и пело вокруг,
И я не узнала – ты враг или друг,
Зима это или лето.

<...> А любимым ее произведением Стравинского, творчество которого она хорошо знала начиная с «Петрушки» и «Весны священной», была «Симфония псалмов».

Михаил Борисович Мейлах:

Музыку Анна Андреевна слушала сосредоточенно, часто закрыв глаза.

Анатолий Генрихович Найман:

Она слушала музыку часто и подолгу, и разную, но получалось, что на какой-то отрезок времени какая-то пьеса или пьесы вызывали ее особый интерес. Летом 1963 года это были сонаты Бетховена, осенью – Вивальди; летом 1964 года – Восьмой квартет Шостаковича; весной 1965-го – «Стабат матер» Перголези, а летом и осенью – «Коронование Помпей» Монтеверди и особенно часто «Дидона и Эней» Пёрселла, английская запись со Шварцкопф. Она любила слушать «Багателли» Бетховена, много Шопена (в исполнении Софроницкого), «Времена года» и другие концерты Вивальди, и еще Баха, Моцарта, Гайдна, Генделя. Адажио Вивальди, как известно, попало в «Полночные стихи»: «Мы с тобой в адажио Вивальди встретимся опять».

Наталья Александровна Роскина:

У Ахматовой был чрезвычайно высок интерес и вкус ко всему современному. Она охотно читала все новое, все, о чем говорили; интересовалась выставками, любила ходить в кино. После инфаркта возможности ее были ограничены, она стала очень грузной и, хотя ела чрезвычайно мало, никак не могла похудеть. Ходить ей было трудно, а по лестницам в особенности, каждый ее выход был осложнен необходимостью иметь провожатого, ловить такси. А до инфаркта она не пропускала хороших картин, и итальянский неореализм увлек ее, как и всех молодых. Она мне рассказывала, как полюбила кино с самого его детства, с маленького кинотеатрика, когда кино еще совсем не было искусством. Вот в таком кинотеатрике на Петербургской стороне показывали «познавательную ленту» про живопись, и под знаменитой картиной Репина был титр: «Пушкин читает, Державкин слушает». И, вспомнив это, она залилась своим милым смехом.

Эмма Григорьевна Герштейн:

– Это какое дерево? – указывала Анна Андреевна на большую крону вдали и удивлялась: – Как можно не знать? – Она называла вяз или тополь, не уставала любоваться старым дубом перед нашим домом и разного возраста кленами.

Анатолий Генрихович Найман:

Вообще же к деревьям относилась с нежностью старшей сестры и с почтительностью младшей и, по ходу разговора о пантеизме, в ответ на мою реплику сказала – не продекларировала как стихи, а выставила как довод, так что я стихи не сразу и услышал, – начало гумилёвского стихотворения из «Костра»: «Я знаю, что деревьям, а не нам, дано величье совершенной жизни». И через мгновение, уже как стихи, уже для своего удовольствия, прочла напевно:

Есть Моисеи посреди дубов,
Марии между пальм...

Заметив на руке комара, она не била его, а сдувала. Высказывалась против кровожадного старичка-паучка из «Мухи-цокотухи», который «муху в уголок поволок», приговаривала: «Вовсе это детям необязательно знать». Огромного дачного кота Глюка, который с грохотом прыгал с сосновой ветки на крышу дома, называла «полтора кота» и однажды сказала про Бродского: «Вам не кажется, что Иосиф – типичные полтора кота?» Когда мужа Пуниной укусила оса и он с возмущением и многословно обрушился на соседского мальчика, интересовавшегося насекомыми, за то, что тот «свил осам гнездо в жилом доме», она невозмутимо возразила: «Им никто ничего не вил, они сами вьют где хотят».

Сергей Васильевич Шервинский:

Я не замечал ни в поведении, ни в высказываниях Анны Андреевны особого пристрастия к животным, подобного рода чувствительность была ей чужда. Да и в творчество свое она не впускала «животнолюбия». Только птицы удостоились внимания поэтессы, и их «Белая стая» приобрела значение символа.

Маргарита Иосифовна Алигер:

В разговоре с интересными людьми, с учеными и специалистами в разных областях, она была бесконечно интересна, неожиданно много и глубоко знала и замечательно умела слушать других – свойство драгоценное и отнюдь не столь распространенное. Помню, как слушала она, когда десять лет спустя я, вернувшись из Латинской Америки, рассказывала о чилийских индейцах племени мапуче.

– Удивительно интересно! Я этого не знала, – сказала она, внимательно выслушав меня, и стало ясно, что теперь она уже крепко и навсегда это знает. И тотчас продолжила мой рассказ ценнейшими сведениями об ацтеках и инках.

Она знала все на свете. Иногда совсем неожиданные вещи.

– Память у меня стала совсем худая, – как-то пожаловалась я. – Никак не могу вспомнить, как называется чилийская река, та, самая главная... Мы проезжали ее, когда ехали в Консепсьон... По ней еще во время колонизации проходила граница...

– Био-био, – небрежно бросила через плечо Анна Андреевна, словно речь шла о Мойке или о Карповке.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

О ту пору (1961 г.) вышло первое издание книги астрофизика И.С.Шкловского «Вселенная, жизнь, разум». Я с увлечением за одну ночь ее прочитал и пересказывал при встрече на Ордынке, у Ардовых, Ахматовой. Она очень заинтересовалась и тут же откликнулась: «Такую книгу я хотела бы прочитать». На следующий раз оказалось, что она уже ее прочла и очень хвалила.

До того когда я зашел к Анне Андреевне на старую ленинградскую квартиру, она сказала, что при разборке старых книг на полке оказалось что-то по теории относительности. Она заговорила о ней с пониманием. Ее эти темы всегда занимали.

Как-то в стихах, которые я ей прочитал, она усмотрела переложение современных физических теорий и, как она умела, в очень отчетливых и прозрачных формулировках пересказала то, что в стихах было неясным и запутанным: «Это что, имеется в виду представление о потоке частиц?..»

Такая же ясность и четкость ее прозаических переформулировок чужой стихотворной путаницы мне открывалась еще несколько раз, причем (всякий раз) по поводу стихов, ей понравившихся. Если в них при этом она обнаруживала что-то невнятное, она сама пробовала пересказать неудачную строку, как бы ее редактируя (я обязан ей двумя или тремя такими редакциями).

Маргарита Иосифовна Алигер:

Человек огромной эрудиции и образованности, она была в курсе новейших научных течений, открытий и дискуссий. Если речь заходила о политике, совершенно лишенная всякого дамского жеманного невежества, она могла вдруг заговорить о каком-либо далеком политическом деятеле как о своем добром знакомом. Я уже не говорю об истории – там у нее были попросту близкие и до деталей знакомые друзья и враги. И бесконечно много помнила – память у нее была удивительная, умная память, умеющая отделять мелкое от крупного.

Наталия Александровна Роскина:

Очень хорошо училась в гимназии и благодаря своей богатой памяти помнила все, чему ее учили. Она сказала: «Я и физику помню, но ведь при мне ее знали только до телефона». Всем она интересовалась и ценила реальные знания, особенно если они были сформулированы кратко и выразительно. И ее суждения о политике всегда были самостоятельны и интересны. Например, когда японцы напали на Пирл-Харбор и потопили американский флот, она сказала: «Американцы – простодушные дети, но своим зверством японцы превратят их в зверей». Эти свои слова она вспомнила и повторила мне, когда на Японию была сброшена американская атомная бомба.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Первый полет в космос ошеломил Ахматову. Ее, так любившую Землю, потрясли сообщения о том, как выглядит оттуда наша планета. Она взволнованно ходила по ордынской столовой и повторяла строки Гумилёва (из стихотворения «Природа»):

Земля, к чему шутить со мною:
Одежды нищенские сбрось
И стань, как ты и есть, звездой,
Огнем пронизанной насквозь!

– Коля был визионер, – утверждала она. – Он писал это о нашем и еще более далеком времени.

– Самое страшное в космосе – абсолютная тишина, – содрогаясь, говорила Ахматова.

Вера

Наталья Александровна Роскина:

Она была религиозна, и это, конечно, было весьма существенной стороной ее личности. Основой ее мужества и патриотизма была именно вера. Она верила как современный человек, со всей широтой философского восприятия жизни и с широким приятием православной церкви.

Своей религиозности она не скрывала, но никогда не афишировала и крайне редко о ней говорила. Фрида Вигдорова рассказывала мне, – быть может, анекдот, выдуманный самой Ахматовой, – что ей как-то позвонили из антирелигиозного журнала с просьбой дать стихи, и она ответила: «Это не мой профиль».

Эмма Григорьевна Герштейн:

Когда я приносила какую-нибудь хорошую новость о моих делах, Анна Андреевна говорила: «Спасибо». А прощаясь – благословляла: «Господь с вами».

Я не слышала, чтобы Анна Андреевна вела с кем-нибудь философские, вообще теоретические разговоры о религии. Она только приводила подходящую к случаю какую-нибудь евангельскую заповедь, всегда смиренно добавляя: «Но выполнять ее очень трудно». Эти слова она произносила в применении к самой себе.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Записано у меня где-то, что она ответила на мой вопрос, верит ли она в Иисуса Христа не только как в историческую личность. «Разумеется, – как и все более или менее интеллигентные люди». И только. А ведь Анна Андреевна, при всем своем немногословии в подобных случаях, иногда (правда, очень редко, но все-таки) допускала и настоящие, серьезные разговоры о религии, о христианстве, о христианской философии.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Надю (Н.Я.Мандельштам. – *Сост.*) раздражало, что Анна Андреевна крестится на каждую церковь. Ей казалось это демонстрацией.

Анатолий Генрихович Найман:

Ахматова была человеком верующим, и нельзя сказать, что нецерковным. По-видимому, когда-то посещение храма было для нее непременно и обычным делом:

А юность была – как молитва воскресная,
Мне ли забыть ее?

Напев Херувимской
У закрытых дверей дрожит...

Поднимались, как к обедне ранней.

Церковные установления были для нее непреложны, и она рассказала мне после поездки в 1965 году в Англию, как ее спросили в Лондоне, не хочет ли она встретиться с тамошним православным архиереем. «Я отказалась. Потому что говорить ему всю правду я не могла, а не говорить правды в таких случаях нельзя».

Но в последние годы она в церковь не ходила. Зайти, перекреститься, постоять помолиться могла, церковный календарь всегда держала в голове, знала его хорошо, хорошо знала службу. В Прощеное воскресенье 1963 года сказала: «В этот день мама выходила на кухню, низко кланялась прислуге и сурово говорила: „Простите меня грешную“. Прислуга так же кланялась и так же сурово отвечала: „Господь простит. Вы меня простите“. Вот и я теперь у вас прошу. „Простите меня грешную“».

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Если Ахматова была в Москве в день большого православного праздника, она всегда мне звонила утром по телефону и поздравляла. Для нее праздники, православная традиция, церковь много значили – специально мы об этом не говорили; как и многое другое, это подразумевалось.

Владимир Сергеевич Муравьев (1939–2001), филолог, переводчик:

О религии прямых разговоров никогда не было. Ахматова в этом смысле была поразительно целомудренна. Она очень красиво, благородно придерживалась обрядоверия. Я не знаю, читала ли она молитвы. Сомневаюсь, что она читала молитвы. Сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот это о ней сказано. Но религиозного словесничанья я за ней не помню.

Анатолий Генрихович Найман:

Но если воспользоваться ее собственными словами, она скорее была «вне церковной ограды», во всяком случае, в конце жизни. То говорила, что с общей исповедью согласиться не может, что введение общей исповеди вбило клин между нею и церковью; то – «я хочу верить, как простая бабка».

День ангела Ахматовой был 16 февраля (по новому стилю), именины справлялись скромно, она принимала поздравления по телефону, вечером за стол садилось несколько гостей. «Я Анна сретенская», – говорила она, ее покровительницей была пророчица Анна, встретившая в Иерусалимском храме младенца Христа. Стих «И вовсе я не пророчица» отталкивается, конечно, от образа этой святой. Что же касается дня рождения, то тут была известная путаница. Начать с того, что она писала в автобиографии «Я родилась 11 (23) июня», а праздновала, как правило, 23-го и 24-го, прибавляя к дате рождения по старому стилю то 12 дней, поскольку оно случилось в прошлом веке, то 13 – поскольку отмечалось в тот же день уже в новом. Во-вторых, она любила заметить мимоходом, что родилась в праздник Владимирской иконы Божьей Матери, установленный в память избавления Руси от ордынского хана Ахмата, ее легендарного предка, на котором кончилось татарское иго. Но этот день – 23 июня по старому стилю, 6 июля по новому.

Хан Ахмат, однако, был скорее декоративным украшением, антуражем, придававшим фигуре и имени поэта пикантную яркость, не лишнюю, но и ничего не меняющую. Существенным же было ее утверждение, письменно и устно повторяемое, что она родилась в ночь на Ивана Купалу, то есть опять-таки на 24 июня по старому, 7 июля по новому стилю.

Привычки, обычаи, причуды

Лидия Корнеевна Чуковская:

8 июня 1940. ... Она сидела на диване, поджав ноги, и курила папиросу за папиросой.

Антонина Васильевна Любимова (1899–1983), художница. Из дневника 1944 года:

Она курит. Мне как-то не приходило это в голову. Но делает это, как и все, что делает, красиво.

Елена Константиновна Гальперина-Осмёркина:

Осмёркин, который стал моим мужем, ездил каждый месяц из Москвы в Ленинград, где он занимался в Академии художеств с дипломниками. Я работала на эстраде, выступала в литературных концертах и имела возможность свободно распоряжаться своим временем. Мы стали жить на два города. Появилось много новых друзей среди ленинградцев. Александр Александрович часто бывал у Ахматовой. Как-то раз он обратился ко мне с неожиданным вопросом: «Скажи, ты давно была в зоопарке? Ходила ли смотреть птиц?» – «Да, и с большим интересом». – «А обратила внимание на какаду? Какая интересная птица! Вокруг нее щебечут, перелетают с места на место разные птицы, подают голоса другие попугаи, а она сидит спокойно, очевидно не слыша и не видя никого кругом, с устремленным вдаль взглядом. Я не раз вспоминал эту птицу, бывая у Анны Андреевны. Она так же замыкается иногда, тоже ничего не видит и не слышит вокруг, погруженная во что-то свое». – «Ну что же, теперь мне понятно ее поведение, когда я занесла ей книгу. Очевидно, я пришла не вовремя. У меня было такое чувство, какое бывает перед светофором: „Красный свет! Не приближайся! Остановись!“» – «Да, об этом надо знать. С тех пор как я это понял, я всегда спрашиваю у нее по телефону: „Анна Андреевна, можно прийти? Какаду сегодня не будет?“ А она, смеясь, отвечает: „Нет, не будет. Приходите“».

Это свойство Ахматовой, видимо, хорошо знал ее друг Н.И.Харджиев. Однажды, когда Анна Андреевна остановилась в Москве у нас, он при мне зашел к ней утром. Я хотела выйти из комнаты, но Анна Андреевна благодушно и весело пригласила меня остаться. Мы оживленно беседовали втроем, как вдруг Анна Андреевна замолчала, глядя куда-то в пространство. Мы тоже замолчали. Прошло несколько минут, молчание не нарушалось. Николай Иванович слегка потянул меня за рукав: «Пойдемте. Наверное, Анна Андреевна хочет... – тут он стал подыскивать подходящее выражение, – сочинять». Мы вышли с ним из комнаты в мастерскую. А там собрались друзья Осмёркина. Говорили, смеялись, пили сухое вино. Час пролетел незаметно. Наконец дверь в мастерскую отворилась, и Анна Андреевна как ни в чем не бывало присоединилась к нам. «Как хорошо, – шепнул мне Осмёркин, – какаду улетел». А я подумала, что зажегся зеленый свет.

Галина Лонгиновна Козловская:

Всегда у людей, впервые знакомившихся с Анной Андреевной, случалось почти всегда одно и то же. В первые минуты и люди почтенного возраста, и молодые, знаменитые и не знаменитые, почти каждый, знакомясь с ней, робел и лишался обычной непринужденности. Пока она молчала, это бывало даже мучительно. <...>

Потом мы как-то об этом с ней заговорили, и она сказала (помню почти дословно): «Да, вот почти всегда так, но это случается только с теми, кто слышал мое имя. Когда же я еду, скажем, в поезде и никто меня не знает, все чувствуют себя со мной легко, свободно. Бабы потчуют меня пирожками и рассказывают, сколько у них детей и чем они болеют. Мужчины

запросто рассказывают анекдоты и всякие истории из своей жизни. И никто никого не стесняется, и никто не робеет».

В результате многие, кто дальше первого знакомства не пошел, говорили, что Ахматова надменна и неприступно горда. Мне же кажется, что это был тайный защитный плащ – она совершенно не терпела фамильярности и амикошонства, и при жизни ее это было невозможно. Она хорошо знала, как легко и часто люди склонны это навязывать при первой же встрече.

Вот, вероятно, почему ею ставился заслон – как самозащита.

Надежда Яковлевна Мандельштам:

А. А., равнодушная к выступлениям, публике, овациям, вставанию и прочим никому не нужным почестям, обожала аудиторию за чайным столом, разновозрастную толпу друзей, шум и веселье застольной беседы. В этом она была неповторима: люди падали со стульев от хохота, когда она изволила озорничать. В роли дамы она долго выдержать не могла, но всегда, получив приглашение в приличный дом, готовилась к ней. Что же касается до приглашений, то она их принимала все, сколько бы их ни было, потому что обожала бегать по гостям, приводя в ужас и меня, и Харджиева: куда она еще побежит?

В гости ей всегда приходилось брать с собой какую-нибудь спутницу – ведь она боялась выходить одна.

Владимир Григорьевич Адмони:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.